

Максим Гуреев

Синдром Капгра

Повесть

В свое время она даже ходила к врачу-ортопеду и просила, чтобы он нарастил ей ногу, а точнее сказать, вытянул при помощи специальных стальных приспособлений, напоминавших велосипедные спицы, вставленные в шелкающий и вечно живой механизм башенных часов, которые в любое время суток показывают пять часов пополудни. Там было что-то не так с анкерным спуском...

Врач-ортопед отсутствующим взглядом смотрел на часы, на короткую ногу, на барабанивший по карнизу дождь конца ноября за окном и лишь качал головой в ответ, возглашая мысленно: «Нет-нет, ну конечно же, нет!»

Говорил при этом, развивая свою мысль, следующим образом:

— Вот представьте себе, как можно нарастить или вытянуть, например, большой палец руки? Поверьте, он никогда не будет иметь длину указательного или среднего, или безымянного пальцев просто потому, что так устроен скелет человека. Так и ваша нога, она не может быть длиннее того, какой ей положено быть. Конечно, вы можете возразить — все ноги должны быть одинаковой длины, и будете правы! Но сколь наивно думать, что они — ноги, руки, глаза или уши, например, — совершенно идентичны, полностью подобны друг другу. Они, видите ли, лишь стремятся к подобию, а в вашем же случае это несовпадение и стремление наиболее очевидны. Можно ли это исправить, спросите вы, да — отвечу я, — можно, например, удлинить вашу ногу при помощи специального протеза — колодки в форме стопы с выточенными в ней углублениями для пальцев и пятки. Стало быть, мы не говорим о вытягивании конечности, боже упаси! Ведь она не резиновая! Мы говорим о деревянном или пластмассовом устройстве, к которому, разумеется, надо будет привыкнуть, но когда это произойдет, а это, вне всякого сомнения, произойдет, то вы навсегда забудете о своем дефекте.

Разводил руками, давая понять, что все объяснения исчерпаны и дело остается за малым — пойти на протезный завод и заказать себе колодку, специальным образом подогнанную под увечную ногу.

С тем женщина и выходила, прихрамывая, на улицу под дождь, уныло брела к трамвайной остановке, а мимо нее, тяжело скрипя на стыках, проезжал «дефектоскоп»,

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссер документального кино, снял более семидесяти лент. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 3.

на контроллере которого стоял вагоновожатый в офицерской шинели со споротыми погонами.

Управлял устройством сосредоточенно, а потому имел взгляд неприступный и суровый, который прятал под целлулоидным козырьком форменной фуражки. За мутным, запотевшим лобовым стеклом разглядеть его лицо было абсолютно невозможно, и оставалось только воображать себе посеченные трещинами губы, птичий нос, ввалившиеся щеки, слезящиеся от крепчайшего табака глаза да подбородок, к которому вагоновожатый свободной от управления «дефектоскопом» ладонью по привычке пристраивал воображаемую бороду в виде туго свитых косиц, как у правителей Ашшура.

А потом подходил трамвай, в который она садилась, вернее, с трудом заползала по ступенькам, переваливалась с боку на бок, повисала на скользких хромированных поручнях, задерживая тем самым отправление.

Задерживая дыхание.

Разноногой она была от рождения.

Когда новорожденную девочку показали матери, та ее не признала и сказала, что ребенка подменили, потому что у ее дочери не могут быть ноги разной длины. Уж что-то, а про детей-инвалидов — разноногих, безногих или безруких — она знает все, потому что долгое время жила в Евпатории.

Знание — за которым неизбежно следовали недоумение, растерянность, страх, переходящий в ярость, совершенная опустошенность, отчаяние, приглушенные крики, даже припадки следовали.

После затянувшейся почти на сутки истерики матери девочку все же отдали, но она так и осталась при своем мнении, что это ребенок не ее, а подмененный, правда, на вопрос кем, зачем и когда это было сделано, ответить затруднялась.

С годами, к сожалению, это состояние прогрессировало, и к семнадцати годам дочери у ее матери окончательно сформировался так называемый синдром Капгра, выражающийся в полной уверенности, что хромоножка является двойником настоящей дочери, которая где-то живет сейчас, ей тоже семнадцать лет, и она не знает о том, что у нее есть настоящая мать, которая ее любит и ищет с ней встречи.

Никто не знал, почему подобного рода помрачение рассудка произошло с матерью, у которой синдром двойника распространялся только на собственную дочь, при том что в общении с остальными родственниками и друзьями она выглядела абсолютно нормальным человеком.

Или почти нормальным.

Встречи с «настоящей» дочерью она, как правило, искала в Сокольниках, где любила прогуливаться. Собирала желтые листья, чтобы дома составить из них осенний букет, читала наизусть стихотворения Цветаевой и Гумилёва, но всякий раз вздрагивала, когда ей навстречу попадалась молодая девушка. Тут же роняла от неожиданности собранный букет на мокрый асфальт, начинала щуриться, пристально всматриваться во встречную, трясти головой, словно пыталась таким образом отогнать от себя наваждение в виде нервного тика правого глаза, но нет, ничего не получалось — давилась, путалась в рифмах, напрочь забывала четверостишия, которые словно выпадали из ее трясущейся головы, закашливалась.

Однако бывали случаи, когда она «узнавала» свою настоящую дочь, у которой обе ноги были одинакового размера. Таких встреч было пять или шесть, не более.

Но это было ложное узнавание.

— Вот, — говорила про себя, совершенно не чувствуя, что вещает громким свистящим шепотом, — абсолютно нормальная дочь идет, не хромает, не привлекает ногу, потому что последнее является очевидным признаком того, что лукавый демон Асмодей забрал ее и сделал своей невестой!

После окончания института дочь попыталась выйти замуж за своего сокурсника по фамилии Циммерманн, однако, узнав об этом намерении своей девочки, мать заявила, что если это произойдет, то она повесится. Более того, не дожидаясь самого рокового события, она даже попыталась это сделать, но, впад в крошечное буйное помешательство, упала с табуретки, на которую взобралась, чтобы привязать петлю к наминавшей якорь-кошку чешской люстры, и сломала себе лодыжку. Причем повредила именно левую ногу, которая у ее дочери была короче.

Да, где-то она читала раньше, что перелом является подсознательным стремлением человека наказать себя за что-то сделанное не так, расплатой за содеянное, а перелом ноги, в частности, есть неосознанное нежелание сдвинуться с мертвой точки, переступить через свое закоснение и нечувствие. Конечно, не могла согласиться с этим утверждением, находя его примитивным и поверхностным, нисколько не отражающим самой сути личности, например, ее материнской личности. Именно поэтому она сразу нашла в совпадении сломанной и короткой конечностей доказательство своей правоты в том, что подмена очевидна, и первое время после наложения гипса не подпускала к себе дочь, пребывая в полной убежденности, что за время заживления перелома ее нога сократится, и искушитель Асмодей сладострастно овладеет ею, воспользуясь ее беспомощностью и неспособностью противостоять искушению.

В результате, что и понятно, свадьба дочери расстроилась, а люстру в форме якоря-кошки, купленную в середине восьмидесятых где-то в «Ядрене», было решено заменить на стеклянный тонированный шар из Икеи.

Размахнулась и изо всей силы бросила люстру в виде якоря-кошки в металлический мусорный бак, где та загремела медными рогами, выпустила из себя провода, как внутренности, захрустела битым стеклом, а ведь была абсолютно исправна и вполне могла еще пригодиться в хозяйстве.

Наблюдавший за процедурой выбрасывания люстры дворник Орзу закричал и отвернулся.

— Здравствуйте, меня зовут Орзу, я приехал из Курган-Тюбе, — и кланяется, и кланяется.

Трамвай свернул с проезжей части и двинулся по рельсам, проложенным сквозь парк по дну оврага.

Рассказывали, что раньше здесь протекал ручей, в котором жил полоз, что прятался под корягами, в излучинах строил норы, нападал на мелкую живность и утаскивал ее под воду, где пожирал, но потом ручей осушили и проложили по его руслу трамвайную линию от Яузы до Ширяева поля.

И вот теперь за окнами на маршруте по большей части проплывали врытые вровень с деревьями в откос столбы да заваленная палой листвой гравийная насыпь, а чтобы увидеть небо, приходилось ложиться лбом на стекло и закатывать глаза.

Так и делала, прекрасно понимая, что со стороны это выглядит дико.

— Окосеешь, — предупреждала с заднего сиденья высокая худая женщина в плаще-дождевике, накинутом поверх грубой вязки шерстяной кофты, словно она собралась в Сокольники по грибы. — У меня вот муж так и окосел, — и доверительно добавляла: — Пытались лечить, конечно, «ленивые» глаза поочередно пластырем заклеивали, но нет, не помогло. Так косым и остался...

Дождь прекратился.

Вышла из трамвая, специально не доезжая остановки до дому, и побрела вдоль путей, намеренно ставя левую ногу на рельс, а правую на гравийную насыпь и торцы шпал, дабы таким образом восстановить несуществующее равновесие, вообразить, каково ей будет ходить с протезом.

А вот так и будет — неспешно, величаво, постепенно, как у Пушкина в «Сказке о царе Салтане» сказано — «выступает, будто пава».

— Пава — это самка павлина, — крутила себе пальцем у виска. — Вот дура!

Постепенно линия трамвайных путей выбралась из оврага и впала в рощу, где деревья были расставлены таким образом, что могло показаться, будто они находятся в постоянном движении, не стоят на одном месте, но прячутся друг за друга, водят причудливый хоровод, задевая друг друга кронами, расковыривая в поисках живности вздыбленными корнями землю. При этом они напоминали исполинских хищных птиц, в случае удачной охоты сжимавших в кривых своих с намершими в виде острых загнутых когтей лапах полевую мышь или змею.

В вышине стоял клёкот.

Шла и распознавала волнение внутри себя, что накатывало по мере наступления темноты.

Красные габариты трамвая мелькали уже далеко и походили на зрачки лесных обитателей, которые в светлое время суток таились, а в сумерках, ближе к ночи, выбирались из своих теснин, нор и сооруженных в дуплах деревьев лежищ.

Пробовали голос — курлыкали, хрипло лаяли, урчали, пытались даже выть, но делали это с осторожностью, потому что местные лесники были вооружены и запросто могли пристрелить.

Так, например, в прошлом году тут перестреляли целую стаю бродячих собак, которые нападали на гуляющих в парке, а зимой гонялись за лыжниками.

Несколько раз оступилась и чуть не упала.

А ведь всегда с удивлением замечала, что даже сильно ударив левую увечную ногу, не испытывала при этом никакой боли, словно там — в мраморной перепончатой глубине, на костяном дне — нечему было болеть. Даже специально била ногу о кирпичную стену или о железные перила в парадном, говоря при этом в сердцах: «Расти, расти, сука!»

Но нет, она и не росла, и не болела.

Потому как рост и болезнь суть одно и то же.

Получается, что хотела доказать своей матери, что она вовсе не двойник никакой, а настоящая ее дочь. С этой целью ведь и пошла к врачу, который посоветовал установить специальную колодку в форме стопы с выточенными в ней углублениями для пальцев и пятки.

Представляла себе их с матерью встречу в Сокольниках уже после осуществленной процедуры следующим образом.

Вот мать идет по аллее, поднимает с мокрого асфальта палые листья, прикладывает их один к другому, сочиняя осенний букет, и вдруг видит, что навстречу ей идет молодая женщина, абсолютно похожая на ее дочь, и при этом она не хромот, не привлекает левую ногу, но ступает совершенно ровно, не ведая, что можно передвигаться как-либо иначе — выворачивая ступни, например, переваливаясь с одного бока на другой, припадая то на одно, то на другое колено, корчась от боли и стыда, от того, что выглядишь при этом увечной и непривлекательной, недостойной любви и нежности.

Трогает пальцами губы и лоб.

Итак, расстояние между ними сокращается, и мать все более и более боится поднять глаза на свою дочь, понимает, что на сей раз она не ошиблась, что она наконец видит именно ту, которую выносила и родила более двадцати лет назад. Она почти готова закричать от радости, а осенние листья прилипают к ее мокрому от слез лицу...

Но тут происходит немыслимое — молодая женщина, с которой они уже почти поравнялись, вдруг поскальзывается и падает на мокром асфальте, а из-под ее левой ноги вылетает деревянная колодка, которая удлиняла эту самую ногу и позволяла

идти, не хромая. В полном замешательстве молодая женщина пытается быстро подняться, но у нее ничего не получается, она опирается на колено, разбитое в кровь, и совершенно невольно хватается за полы пальто, тянет их на себя, вдыхает дурманящий запах нафталина, и тут же откуда-то сверху слышит истошный вопль, который может исторгнуть лишь человек, окончательно разуверившийся и понявший, что он вновь ошибся и посрамлен, что сердце его разбито и на него напал демон-двойник.

Пальто судорожно вырывается и бежит по аллее, а из его рукавов вылетают собранные листья, которые кружатся и переворачиваются в воздухе.

В ту минуту мания преследования выразится у матери абсолютно, она будет уверена, что демон то с головой коня, то с головой быка, то в виде человека-зайца со ступнями, вывернутыми назад, гонится за ней по осеннему лесу и уже почти настиг, — ведь только залеченный перелом лодыжки не дает ей возможности бежать во всю силу. Например, так, как она бегала в молодости, когда училась в полиграфическом институте и даже выступала за факультет в соревнованиях по легкой атлетике, которые проходили в Тимирязевском парке.

Итак, Асмодей настигает мать, отчего у нее приключается судорога лица, не позволяющая ей кричать, звать на помощь, а также молить о пощаде.

По крайней мере, таким образом, исключая, разумеется, падение, дочери виделась ее гипотетическая встреча с матерью в Сокольниках.

Она — дочь-инвалид детства — так и лежит на асфальте, наблюдая убегающее пальто, за полы которого она только что держалась. Потом с трудом поднимается, находит улетевший под скамейку протез и прилаживает его к увечной конечности.

Усмехнулась.

Чувствовалась горечь во рту.

Подумала — нет, ничего из этой затеи не выйдет никогда, да и колодка до крови натерла стопу. Боли при этом, как всегда, не было, но возникало неудобство при ее снятии, ведь приходилось отдирать чулки от деревянной формы, к которой они намертво приклеивались, и, разумеется, рвались при этом, и их надо было выкидывать.

Одноразовыми чулки получались.

Садилась на скамейку.

Говорила себе: «Как все глупо получилось, просто невыносимо глупо, и ради этого стоило ходить к врачу-ортопеду, выслушивать его рекомендации, платить деньги, причем немалые...»

Красных габаритных огней не разглядеть.

Наконец вышла из рощи и оказалась перед панельными девятиэтажками, которые стояли чередой вдоль трамвайных путей.

В окнах домов уже зажгли свет.

А что же было тем временем?

А тем временем, прибежав домой, первым делом мать, не раздеваясь, включила электричество в прихожей, на кухне, в коридоре, в ванной и в комнате. Стекланный тонированный шар под потолком заморгал и выплыл луной из вечерних сумерек, повис в отражении окна. Осветил репродукцию портрета Данте Алигьери кисти Боттичелли, что висел рядом с книжным шкафом.

Убедившись, что в квартире никого нет, мать села к столу и закурила в надежде унять бивший ее озноб. Нет, не помогало, ее выворачивало откуда-то изнутри, она даже попыталась померить температуру, вставив градусник под левый рукав пальто, но выронила его, конечно, тут же сразу забыла о нем, а перед глазами неотступно стояла картина происшедшего в парке, особенно тот момент, когда из разверстого рта сладострастного Асмодея, нависшего над ней, вырвалась струя обжигающего зловонного пара.

Зажмурилась!

Вспомнила, как в детстве, когда она жила у деда в Евпатории, куда ее на все лето отправляли родители, принимала ингаляции в расположенной рядом с их домом санчасти санатория для детей-инвалидов.

Терпеливо ожидала на банкетке в коридоре, по которому мимо нее на специальных каталках провозили маленьких спящих пациентов, что улыбались или хмурились во сне.

Потом заходила в процедурную, где ее встречала хорошо знакомая медсестра, она улыбалась девочке, усаживала на высокий обтянутый целлофаном поверх белого чехла стул, придвигала ее ближе к устройству, напоминавшему главный калибр стоявшего на рейде в Евпаторийском порту линкора «Севастополь».

Устройство называлось тубус.

Девочка заглядывала внутрь пластмассовой трубы, тубуса, стало быть.

— Не делай так никогда, ослепнешь, — медсестра грозила пальцем и хмурилась. — Вот у меня муж, например, всю жизнь проработал на судоремонтном заводе сварщиком, ему часто приходилось смотреть на яркий огонь, он сейчас на пенсии и почти слепой.

Девочка мотала головой в ответ, мол, что «больше так не будет делать», и покорно складывала руки на коленях, а медсестра тем временем вставляла ей в рот ту самую пластмассовую трубу и переключала массивный эбонитовый тумблер, напоминавший птичий клюв — острый, блестящий, не предвещавший ничего хорошего.

Аппарат начинал гудеть, выпуская из себя горячий пар.

— Хорошая девочка, хорошая, — приговаривала во время процедуры медсестра. — Дыши глубоко и ничего не бойся.

Мигала красная лампа, а перед глазами по-прежнему пылала раскаленная ртутная точка, что жила в недрах ингалятора, и при долгом смотре на которую можно ослепнуть.

Вот такое воспоминание о евпаторийском детстве!

И причем именно сейчас оно посетило!

Мать терла глаза кулаками.

Мать закатывала глаза и смотрела на висящий над ее головой стеклянный матовый шар из Икеи, заливающий комнату плавающим светом. Когда же голова начинала кружиться, она вставала, шла на кухню, ставила на огонь чайник и наконец снимала пальто.

Озноб постепенно проходил, но ему на смену как всегда тайно, незаметно подступала головная боль. Впрочем, пока беспокоиться на сей счет особого смысла не имело — ведь она шла издалека, как грозовой фронт, и вполне могла пройти стороной.

Мать прислушивалась к себе, находя мнительность надежным источником знания, пусть и полученного в болезненном состоянии, порой совершенно невыносимого, но при этом желанного и доставляющего изрядное удовольствие.

Ведь еще в детстве она полюбила болеть и лечиться.

Вот, например, у нее были гланды, и именно по этой причине дед водил ее на ингаляции. Вернее сказать, сопровождал до ворот санатория, смотрел, как внучка в окружении детей-инвалидов направляется к санчасти, а сам выдвигался в контору судоремонтного завода, где он работал табельщиком.

Цокал языком.

После завершения процедуры девочка еще какое-то время сидела в коридоре, чтобы остыть после горячего пара, который вырывался из главного калибра линкора «Севастополь», словно после залпа по кораблям неприятеля, едва различимым на горизонте, а затем выходила на улицу, вернее, во двор санатория, и вновь попадала в объятия детей-инвалидов.

Они обступали ее, пришепёвывали, что хотят с ней дружить, звали играть в прятки или «казаки-разбойники», но девочка не понимала, как такое возможно делать

с ровесниками, многие из которых едва передвигались, а если и делали это, то исключительно на колясках, которыми весьма умело и проворно управляли медсестры.

Называли свои имена, разумеется, в надежде, что девочка их запомнит. Спрашивали, как ее зовут.

И она называла свое имя, причем всякий раз другое — Катя, Света, Соня, Настя, Юля, Лена, Надя, Лиза, Вера, Лида, Тома, Ира. Бывали, конечно, случаи, когда путалась в именах, смеялась, будучи пойманной на вранье, мечтала о том, как бы скорее сбежать.

— Ты же говорила, что тебя зовут Нина? А теперь говоришь, что ты — Галя...

— Я пошутила, — пыталась вырваться, но ничего не получалось, потому что дети-инвалиды крепко держали ее, обступив со всех сторон. Так и перемещались они через тенистую аллею к воротам, которые венчали гипсовые изваяния пионера-горниста и школьницы с открытой книгой в руке.

И тогда девочка начинала метаться, искать помощи, потому что до выхода из санатория было еще далеко, а столпотворение вокруг нее все более и более нарастало, и тут она наткнулась взглядом на мальчика лет семи, ноги которого в любую жару были обуты в высокие, наглухо зашнурованные ботинки на разномысокой подошве. Он всегда стоял в отдалении и не решался подойти к процессии, вышедшей из санчасти. Говорили, что его зовут Вадик Федорин и что инвалидом он был не от рождения, а после несчастного случая, когда попал под поезд.

Чайник уже давно закипел на кухне, как припадочный, плевался кипятком и заливал конфорку.

— Почему ты тогда не называла своего настоящего имени? — спрашивала мать у своего отражения в оконном стекле, за которым стоял поздний вечер. Переводила ничего не выражающий взгляд на холодильник, затем на раковину и наконец на кружку, из которой валил густой клокастый пар, из-за чего разглядеть содержимое этой самой кружки было абсолютно невозможно.

Скорее всего причиной этой лжи была боязнь, назвав свое настоящее имя, стать с этим частью многочисленной семьи несчастных обитателей санатория, перенять их страшные недуги, заразиться ими и от них же умереть.

Вот, например, у нее гланды! Их можно запросто вырезать или вылечить ингалятором, а если даже и не вылечишь до конца, то с ними вполне можно жить дальше, разве что предохраняя себя от сквозняков и переохлаждения. Наконец, как говорят врачи, гланды имеют тенденцию рассасываться, и через несколько лет терпеливого ожидания можно стать абсолютно здоровым.

Совсем другое дело — пациенты санатория, их недуги, увы, были неизлечимы.

Дома за ужином девочка рассказывала деду о том, как прошла процедура, как она играла с детьми.

— Молодец, — одобрял дед, подходил к буфету, доставал графин с настойкой родиолы, наливал себе рюмку, выпивал залпом, сохраняя при этом сосредоточенное выражение лица, кричал, цокал языком, после чего возвращался к пережевыванию вареной картошки.

— Скажи, а с кем ты там подружилась?

— С одним мальчиком.

— Как его зовут? — дед отрывался от тарелки и поправлял очки.

— Вадиком...

От этого ответа почему-то становилось легко и даже радостно.

Улыбалась.

И дед улыбался в ответ.

Потом, когда трапеза завершалась, он усаживался в старое, казавшееся внучке крайне неудобным кресло с вытертыми подлокотниками. Он любил в нем сидеть вечерами, листать журнал «Огонёк» и за этим занятием засыпал ненароком, роняя

голову на грудь, словно голова была самым тяжелым, самым неподъемным органом его старческого тела, словно вмещала в себе многие думы и заботы, печали и боли.

Вот тут-то мать и вздохнула с облегчением, потому что головная боль, приносившая ей порой невыносимые страдания, прошла мимо, исторгая молнии и грохоча где-то за горизонтом, однако переживания о происшедшем в Сокольниках не отпускали, но, впрочем, уже не казались такими невыносимыми и натуралистичными.

А тем временем дочь стоит перед подъездом дома, в котором они живут вместе с матерью на девятом этаже.

Окна их квартиры выходят во двор и на транспортную развязку, что всегда стоит в пробках, а по ночам копошится сотнями мигающих красных огней, вытекающих из центра и остывающих в пригороде гудящей на разные лады лавой.

Балкон застеклили лет двадцать назад, если не больше, но так как сделали это плохо, на скорую руку, то его перекосило, вагонка отошла, рамы треснули, а из образовавшихся щелей дует и тянет уличной гарью.

Особенно это невыносимо летом.

Дышать нечем.

Губы пересыхают и трескаются.

Язык беснуется.

Всякий раз, оказываясь под бетонным козырьком подъезда, с которого свисают застывшие капли гудрона, дочь вспоминает, как однажды прошлой весной, когда она вечером возвращалась с работы в издательстве, куда она после окончания института пошла работать по настоянию матери (часто засиживалась тут допоздна), и уже хотела открыть дверь подъезда, из окна на восьмом этаже выпала женщина.

Вернее сказать, все произошло мгновенно, и сначала было непонятно, что именно приключилось, но после того как кусты рядом с подъездом зашевелились и из них донеслись глухие сдавленные стоны, все стало ясно.

Вместе со «скорой» приехала полиция.

Когда женщину извлекали из кустов, она истошно кричала, а потом захрипела и стихла.

Врачи сказали, что она раздробила себе тазовую кость, повредила позвоночник и вряд ли выживет, а если и выживет, то никогда больше не сможет двигаться.

Потом полицейский начал опрашивать единственную свидетельницу, которая рассказала, что она вместе с матерью живет на девятом этаже, а потерпевшая — ровно под ними, что жила она одна, что несколько лет назад у нее умер муж, а еще они всегда здоровались при встрече.

Более добавить к этому было нечего.

И это уже потом, в середине лета выяснилось, что выбросившаяся из окна женщина страдала каким-то редким психическим заболеванием, а также то, что она скончалась в ту же ночь в реанимации.

Узнав тогда об этой истории, мать страшно испугалась и даже какое-то время хотела срочно поменять квартиру, потому что была уверена, что демон, выбросивший соседку снизу из окна, теперь переберется к ним и начнет охоту именно за ней, потому что ее дочь не является настоящей дочерью, но подменной и, следовательно, состоит с этим демоном в тайном сговоре.

То есть, они вместе ее и выбросят из окна, а потом будут вдвоем жить-поживать в этой квартире да добра наживать.

Кнопку вызова лифта прожгли подростки из соседней школы.

Лифт напоминает бельевой шкаф с неплотно примыкающими друг к другу створками. При прохождении очередного этажа тут хорошо видны сползающие вниз бетонные перекрытия, связки проводов и пыльные плафоны освещения лестничных площадок.

Когда училась в десятом классе, впервые прочитала «Божественную комедию»

Данте и всякий раз, оказываясь в этом лифте, воображала себе, что преодолевает девять кругов ада при помощи электромотора, лебедки и стального густо смазанного тавотом троса.

Например, первый этаж — это Лимб.

Заточенные в почтовых ящиках письма здесь обречены на вечное страдание и безмолвную скорбь.

На втором этаже живут прелюбодеи и блудницы, и не для кого это не является секретом, потому что все квартиры на этом этаже сдаются.

Третий этаж — место обитания чревоугодников, которые согласно автору «Божественной комедии», наказаны гниением и разложением под палящим солнцем или под проливным дождем. И действительно, проезжая третий этаж, всегда чувствуешь тошнотворный запах жареной рыбы и еще какой-то переваренной дряни.

На четвертом этаже обитают скупые. Помнится, мать спускалась сюда пару раз к живущей тут ее университетской подруге, чтобы попросить денег взаймы, но всякий раз ей было отказано. Вежливо, даже жалостливо-надрывно, но отказано.

На пятом этаже пьянствуют и часто дерутся, потому сюда и вызывают полицию. Видимо, это удел всех чрезмерно гневливых и озлобленных.

Шестой этаж, как говорит мать, самое страшное место в доме, потому что его населяют еретики и лжеучители. Речи их вкрадчивы, а улыбки заворачивают. Перед дверями их квартир лежат половики с изображенными на них турецкими огурцами, верблюдами вниз головой и восьмиконечными звездами.

Седьмой этаж — это насильники и извращенцы. Например, худой старик в трусах, что из двадцатой квартиры, каждое утро делает здесь зарядку на лестничной клетке, кричит, пукает, а его соседка выходит выбрасывать мусор совершенно голая.

На восьмом этаже живут колдуны, и мать была абсолютно уверена, что женщина, которая впоследствии выбросилась из окна, была ведьмой и сожительствовала с инкубом.

И наконец, девятый этаж.

Двери лифта распахиваются, и становится страшно от знания о том, кто, согласно человеку с подбородком, стремящимся к носу, который нависает над верхней губой, по имени Данте Алигьери, проживает здесь.

По крайней мере, в «Божественной комедии» девятый круг населен предателями, они вмерзли в воды озера Коцит, а посему не могут освободиться из этого невыносимого арктического плена, они обречены страдать подобным образом до скончания века.

Помнится, зимой с классом ходили на Путяевские пруды, что находились рядом с платформой Маленковской, кататься на коньках.

Мальчики сразу убегали гонять шайбу.

Девочки же, напротив, долго шнуровали коньки, а потом, взявшись за руки, величаво раскатывали кругами, воображая себя фигуристками.

Их одноклассница-инвалид надевала конек на левую ногу и так ходила по льду.

Думала, что это еще один вариант не хромать.

Скользила подобным образом, держала руки на уровне плеч параллельно льду, соблюдая равновесие, и никто над ней не смеялся, хотя мать уверяла, что она есть всеобщее посмешище.

Девочка была уверена, что Зимин, с которым она сидела за одной партой, в нее влюблен.

Но это было не так, потому что он был влюблен в Михалёвчину из параллельного класса, а с хромоножкой просто дружил, помогал делать уроки, а иногда провожал из школы домой.

Матери Зимин, разумеется, не нравился. Особенно ей не нравились его родители: отец — главный механик завода «Темп» Василий Дмитриевич, и мать — Татьяна Наумовна — товаровед в Доме педагогической книги на Кузнецком мосту. Встречалась

с ними на родительских собраниях в школе и почему-то пребывала в полной уверенности, что они не любят друга и, как следствие, изменяют друг другу. Уже дома мать развивала эту тему с удовольствием, порой доходя до истерического возбуждения при описании воображаемых подробностей чужой семейной жизни, а также извращенной супружеской неверности, когда всем надо было показать, что они идеальная пара, но на самом деле, и мать в этом совершенно уверена, они ненавидят друг друга, терзают друг друга, унижают друг друга.

Дочь невольно слушала ее рассуждения, хотя все эти эскапады были предназначены вовсе не ей, просто мать любила разговаривать сама с собой, не находя иного достойного собеседника.

Конечно, девочка падала на льду, но Зимин всегда оказывался рядом, помогал ей подняться, отряхивал снег, говорил: «Падая и вставая, мы растем».

Помнила эти слова!

Потом все сидели на спинках ушедших в обледеневшие сугробы скамеек и ели пирожки с мясом, купленные в буфете на платформе Маленковская. Об этих пирожках, которые называли «трусами», говорили, что их делают жены лесников якобы из бродячих в Сокольниках собак, которых их мужья и убивают.

Мать настроено запрещала дочери питаться этой «дрянью», она вообще любила это слово, которое употребляла применительно ко всему — человек-дрянь, еда-дрянь, книга-дрянь, настроение-дрянь.

Меж тем со страхом, под общий хохот девочка откусывала хрустящую пережаренную корку, по возможности оттягивая встречу с содержимым «труса», но встреча эта неизбежно наступала, и распаренные комки мяса застревали в зубах.

— Не хочешь? Поделись с другом! — кровожадно вращая глазами, вопил Зимин и к общему удовольствию изображал рыкающего хищника, вставал на четвереньки и начинал выть на фонарь, под которым все и сидели.

— Нет, не дам, сама все съем, — давясь и обжигаясь, девочка запихивала «трус» целиком в рот и пыталась при этом улыбаться.

Вымучивала улыбку, а Зимин вымучивал из себя протяжный, совершенно не похожий на настоящий волчий вой.

Скорее, собачий получался.

Катание на коньках заканчивалось уже затемно.

Из парка все выходили вместе, а потом разбредались каждый к своему дому, кто вдоль трамвайных путей, кто на Стромынку, а кто к метро.

Возвращаться домой не хотелось — что тогда, что сейчас.

* * *

Лед на Путяевских прудах, промерзавших за зиму до дна, стоял, как правило, почти до майских праздников, становился на пригреве черным, рябым, щетинился ветками, сломанными хоккейными клюшками, дохлыми, исчезнувшими во время трескучих морозов бродячими собаками да замерзшими птицами, и это при том, что в лесу снега уже давно не было.

Именно по этой причине по вечерам над Сокольниками стоял густой, пахнущий прелой оттаявшей землей и гнилой водой туман, в котором едва заметно вдоль лучевых просек в сторону заброшенной дачи Цигеля плыли уличные фонари.

Василий Дмитриевич и Татьяна Наумовна Зимины категорически запрещали своему сыну ходить в Сокольники после наступления темноты, особенно в сторону Пятого лучевого просека, где за наглухо закрытыми железными воротами находился двухэтажный каменный особняк, подземный ход из которого, по слухам, вел к Язуе. Об этом дачном доме купца первой гильдии Петра Вольдемаровича Цигеля говорили разное: и что после войны тут была тайная дача Берии, где сеансы вхождения в транс проводил сам Вольф Мессинг, и что после расстрела всесильного министра внутренних

дел в пятьдесят третьем году все последующие владельцы дома погибли при невыясненных обстоятельствах, и, наконец, что устроенный здесь же спустя годы детский туберкулезный санаторий закрытого типа слыл местом гиблым и безнадежным, в котором большинство несчастных юных пациентов так и остались навсегда.

Зимин стоял на берегу пруда и пинал ногой притопленный кусок льда, который то всплывал, то уходил под воду, выдавливая на поверхность мутные вонючие пузыри. Потом брал найденную тут же лыжную палку и пытался ею оттолкнуть льдину подальше от берега, но из этой затеи ничего не выходило, потому что под водой в нее вмерзли водоросли, они-то и не отпускали кособокую глыбу в свободное плавание.

Так и предатели, изменники, как сказано в «Божественной комедии» Данте, вмерзли в воды озера Коцит, а посему не могли освободиться из этого невыносимого арктического плена, которому они были обречены до скончания века. Об этом Зимину рассказывала его одноклассница-инвалид, с которой он сидит за одной партой.

Плененные изнывали.

Заламывали руки.

Вытягивали жилистые шеи.

Таращили глаза.

Испытывали жжение под ногтями.

Вертелись на месте, как дервиши.

И льдина вертелась, словно облизывалась.

Поднимала со дна зеленоватую взвесь и песок.

Лыжная палка скользила по ней.

Пару раз оступился и в результате провалился в воду.

Тут же и промок насквозь, разумеется.

А с противоположного берега тянуло дымом костра, который жгли маленковские. Конечно, сейчас было бы разумно просушить ботинки и носки у огня, но так как маленковские традиционно дрались с Ширяевым полем и Стормынкой, просто смертным боем бились, то мысль эту сразу же от себя отогнал. С Зимина хватило и одной встречи с ними, что произошла пару лет назад. Тогда он как раз провожал хромоножку до подъезда и, возвращаясь домой, наткнулся в проходном дворе на великовозрастного второгодника Алексу в окружении всей его придурковатой свиты.

Алекса сидел на качелях, высверливая в песке пятками отцовских офицерских ботинок лунки, в которые периодически лениво сплевывал сквозь зубы, страдал отрыжкой.

Увидев Зимина, он воздел глаза к небу, своим видом показав, что все окружающее ему совершенно обрыдло, при этом его вдобавок ко всему еще и тошнило после вчерашнего возлияния в котельной при механических мастерских. Скорее всего, именно поэтому глаза его были едва открыты, а язык с трудом ворочался в пересохшем, как глиняная нора, рту.

— Ты кто такой?

— Саша.

— А почему ты лысый? — Алекса резко распрямил ноги, вытянул носки и, качнувшись, почти достал ими до подбородка Зимина. — Болееешь?

— Нет, меня в школе на уроке НВП побрили.

— Забрили, стало быть, в солдаты, — прокуренным хохотом заскрипели качели, зарокотали глухими кашляющими перекатами, и все, конечно, тут же вежливо засмеялись вслед за Алексой, который, однако, довольно быстро прервал свое веселье, то есть утратил всяческий интерес к происходящему, обмяк совершенно на металлических поручнях и проговорил едва слышно:

— Ты каких будешь, Саша?

— Как это?

— Ты не понял, о чем я тебя спросил? — Алекса резко уперся ногами в землю, и качели замерли на месте. — Где живешь, бродяга?

Язык тут же и прилип к нёбу, а оторвать его стало совершенно невозможно, потому что Зимин хорошо знал, что последует за ответом человека, живущего в районе Стромынки.

— Лысый, лысый, ди попысай! — неожиданно нарушил неловкую тишину худой, в безразмерном армейском бушлате дебильного вида горлопан Кованов по кличке Ушастый. На сей раз дружный хохот грохнул от всей души, и тут же все принялись тыкать пальцами в лысяка, приседая при этом на корточки, пуская ветры, ковыряя кукишами носы, хлопая себя по лбу и прочим частям тела ладонями. Смех множился, гуляя по двору, словно в гулком канализационном колодце, и от него никуда нельзя было спрятаться — ни под скамейку залезть, ни на крышу беседки детского сада, ни в электрическую будку, ни, наконец, за покосившийся гараж, стоявший на границе проходного двора и пустыря. Везде он — громогласный и надрывный — настигал и входил внутрь головы, замуровывал уши и бил по глазам. Теперь только и оставалось что паяльаться в заполненные мутной смерзшейся слюной лунки в песке под качелями.

— На Короленко живу... — ответил Саша.

Наступила тишина.

Наступило молчание, как перед оглашением приговора, молчание длиной в выдох.

Ушастый криво усмехнулся и коротко со всей силы ударил Зимина в лицо.

Нет, не успел Саша защититься, а из глаз сами собой хлынули слезы, хотя боли не почувствовал.

Попробовал побежать, но кто-то подставил подножку.

Упал с ощущением того, что ноги туго связали проволокой...

Домой дверь открыл собственным ключом и сразу, чтобы никому не попасться на глаза, быстро прошел в ванную. Здесь защелкнул задвижку, включил воду и поднял глаза на зеркало.

Это еще ничего, могло быть и хуже. У них в школе рассказывали, что одного старшеклассника так избили, что его пришлось отвезить в больницу.

А тут ерунда — рассекли бровь, подбили правый глаз да выбили один центральный резец, вернее сказать, не выбили даже, а расшатали, так что зуб теперь болтался и кровил.

Саша наклонился к рукомойнику, набрал полный рот холодной воды, почувствовал резкую боль и открыл рот, словно закричал, но на самом деле не издал ни звука. Так повторил несколько раз, открывая и закрывая рот, после чего сел на край ванной и наконец смог отдышаться.

Страшно болела бровь, и глаз заплыл.

Тогда родителям пришлось соврать, что на уроке физкультуры упал с брусьев, и они сделали вид, что поверили.

Стало быть, с маленковскими все ясно!

Хорошо, что они сидели на противоположном берегу пруда, там жгли костер, курили, играли в карты, переругивались, хищно поглядывали по сторонам.

Зимин бросил лыжную палку и быстрым шагом двинулся через овраг в сторону Поперечного просека. Почти побежал, потому что ледяная вода хлопала в ботинках, а холод медленно, но верно начал подниматься вверх по телу, вызывая озноб и выламывая суставы. Там, на пересечении Поперечного с Пятым лучевым, была остановка, и Саша надеялся, что ему повезет с автобусом, на котором до дома получалось минут пятнадцать от силы.

А в автобусе тепло.

В автобусе работала печка.

Гудел вентилятор, выдувал с салон горячий, с примесью масляного прогара воздух.

При других обстоятельствах ни за что бы не полез в эту душегубку, потому что знал наверняка, что его укачает, но сейчас все было по-другому.

Представлял, как сядет в полупустом автобусе за водителем, ведь именно тут вентилятор дует с наибольшей силой, почувствует, как постепенно начинает согреваться, и с ощущением этого уснет.

И ему приснится, как его отец, раздевшись до сатиновых трусов, выходит на снег и опрокидывает на себя ведро воды, а от его красного тела тут же начинает подниматься густой пар. При этом отец улыбается и зовет к себе сына, чтобы проделать с ним подобную же операцию, но Саша отворачивается, отпирается изо всех сил, боясь растерять по крупницам собранное от автобусной печки тепло, страшась того, что оно иссякнет, кончится.

Овраг никак не кончался, и даже могло показаться, что он извивался по новому, никому неизвестному маршруту, прокладывая его самостоятельно, а потому неумело, и оттого путь все более и более удлинялся, становился почти бесконечным.

Странно, ведь довольно часто раньше выходил к той остановке, хорошо знал к ней дорогу, но на этот раз происходило что-то необъяснимое, будто бы кто-то посторонний, но при этом находящийся в нем самом и таившийся до поры, водил Зимины кругами по сырому, неприютному лесу. А может быть, происходило это потому, что бежал изо всех сил, не оглядываясь по сторонам, думая лишь о том, как бы ему успеть на автобус, который появлялся в этих краях нечасто, и ждать его порой можно было очень долго. Например, стоять на остановке под железной крышей-козырьком на пронизывающем ветру и ждать, не имея ни малейшей надежды на то, что автобус приедет и увезет его отсюда. Волнение брало верх над здравомыслием, да и разнообразные случаи, в том числе и вполне драматические, связанные с остановками общественного транспорта, почему-то лезли в голову именно сейчас, обретали очертания выпуклые, почти осязаемые, наливались яркими, даже ядовитыми красками, изобиловали пронзительными подробностями.

Например, отец рассказывал Саше, как однажды на его глазах трамвай, подъезжая к остановке, задавил мужчину лет тридцати от роду.

Тогда все бросились извлекать из-под колес несчастного, который был еще жив. Отец видел его лицо, изуродованное многочисленными кровоточивыми ранами, лоб был разбит, губы распухли.

К моменту, когда приехала «скорая», мужчина уже умер.

Произошло это как раз накануне Нового года, сильные морозы тогда пришли на смену оттепели, и поэтому наледи, присыпанные снегом, представляли собой большую опасность — многие поскальзывались на них, падали, с трудом поднимались, чтобы вновь завалиться в сугроб, рассыпав по утоптанной пешеходной дорожке купленные к празднику мандарины.

Саша не заметил, как начало смеркаться, как чаща, до того момента неподвижная, ожила и задвигалась ему навстречу, а еще как он уперся в покосившийся забор дачи Цигеля, так и не поняв, каким образом вышел именно сюда.

* * *

Какое-то время она еще стояла во дворе — впереди панельный многоквартирный дом, в котором они живут вместе с матерью на девятом этаже, а за спиной лесопарк, населенный диковинными животными, — но становилось холодно, и надо было входить в подъезд, где в глубине, рядом с лестницей, мерцала кабина лифта.

Перед глазами тянулась бесконечная вереница почтовых ящиков, у большинства из которых замки были вырваны с мясом, а дверцы погнуты, словно их пытались открыть.

Звонок как не работал, так и не работает. Его еще во время ремонта парадного сломали, вот он и остался торчать вывернутой ушной раковиной, припорошенной побелкой.

Достала ключ, не сразу попала им в замочную скважину, повернула несколько раз и вошла в квартиру, не стала включать свет в прихожей, заглянула на кухню — пусто, прошла в свою комнату и закрыла дверь.

Тут легла на кровать и стала наблюдать за движущимися под действием сквозняка шторами. Вообразила себе, что эта комната находится под водой, что она выстужена перламутровой взвесью, подсвеченной мигающими светофорами и сполохами рекламных щитов, расставленных вдоль транспортной развязки. Потом отвернулась к стене и через кое-то время почувствовала, что у нее отнялось все тело, стало совершенно невесомым, и она перестала его ощущать, дыхание при этом замедлилось, почти остановилось, и она уснула с открытыми глазами, неудобно поджав под себя левую ногу.

И вот ей снятся два одноэтажных кирпичных дома, которые между собой соединяет металлический переход.

Газовая труба, покрашенная ярко-оранжевой краской, здесь заменяет перила.

На перилах сушатся по большей части набивные половики и нижнее белье.

Место это ей кажется знакомым, хотя раньше она здесь никогда не бывала. В том смысле, что оно вбирает в себя все прежние места ее обитания — однокомнатную квартиру на Пролетарке, неотапливаемую веранду, которую снимали на лето где-то в районе Кратово, да мазанку с окнами в уровень земли на Карантине в Феодосии.

В кирпичную оштукатуренную арку тут вросла столетняя ветла, что, разметавшись по шиферной крыше дворницкой, нависла над колодцем двора.

Пыхтит по ночам пихта.

Тужится изо всех сил туя.

Изнывает под проливным дождем ива.

Оседает под мокрым снегом ольха.

Тополь томится.

А в дупле этой ветлы, расположенном на уровне чердака, который криво заколочен обрезным горбылем, живет ушастый филин.

Он гукает.

Он удивлен.

Он крутит головой, приноравливается, прячется в темноте, хлопает крыльями, топчет кривыми когтями-крючьями по вывернутой словно бы наизнанку коре.

Страшный и пучеглазый!

Смешной и лупоглазый!

Поскольку во дворе, наглухо отрезанном от внешнего мира с одной стороны кирпичной стеной брандмауэра и семиэтажным доходным домом с другой, всегда темно, то под металлическим переходом, сваренным из арматуры и листового железа, постоянно горит желтый электрический свет.

Это придает всему происходящему — перемещению теней, миганию вспышек в трансформаторной будке и водосточном коллекторе, блужданию змеевидной поземки по вздыбленной корнями асфальтовой дорожке — какое-то особенное полуобморочное настроение, именно такое, когда спишь с открытыми глазами.

Притом что спать с открытыми глазами ей приходилось и прежде.

Иногда мать подходила к дочери посреди ночи и прикасалась пальцами к белкам ее глаз в надежде, что веки упадут и сомкнутся, но этого не происходило, дочь никак не реагировала и продолжала спать.

Ужас охватывал мать, и она убегала голосить на кухню.

Итак, сон продолжается — вот из водянистого, палевого оттенка тумана выплыл

кособокий палисадник, огороженный скрученными между собой проволокой остовами панцирных кроватей.

Абсолютно не чувствуя движения, даже не касаясь земли, она подошла ближе к палисаднику и пригляделась — здесь росли цветы, лечебные травы и кусты боярышника. Из земли торчали кривые корни — «злые» и «добрые», горькие и сладкие. Знала наверняка (откуда она обладала этим знанием, неизвестно, так часто бывает во сне), что за всем этим хозяйством присматривает низкорослый плешивый человек с неопрятной пегой бородой, похожий на ее отца. Впрочем, это было заблуждением, потому что ее отец, которого она впервые увидела в пятнадцатилетнем возрасте, был на вид весьма благообразен, худ, высокого роста и никогда не носил бороды. То есть полная противоположность обладателя как бы приплюснутого лица, свернутого набок носа и бельма на правом глазу.

Аберрация сознания, когда желаемое выдается за действительное, а реальность видится вымыслом или галлюцинацией.

Итак, человека, который ухаживал за палисадником, звали Наилем, по крайней мере, именно под таким именем его знали в этой части города.

Ходили слухи, что в чугунных котлах он по ночам варит травы, корни, кору и нераскрывшиеся маслянистые почки, делает из них приворотные средства, целебные настои и мази, которыми пользуется недужных, лечит от многих болезней, в том числе привлекает сухоруких и увечных.

Так как спросить тут было не у кого, деревянные ставни на окнах оказались закрытыми наглухо, то она довольно долго искала Наиля по этим дворам, где одноэтажные кирпичные постройки перемежались с дровяными сараями и гаражами.

Походили друг на друга, как родные братья.

На тот самый палисадник, причудливо выгороженный остовами старых панцирных кроватей, набрела, уже окончательно потеряв всякую надежду найти татарина-травника, и на походе к которому настояла, конечно же, мать.

Цветы тут совсем пожухли, да и зелень выцвела, а в расставленные вдоль стены дома оцинкованные корыта с карниза капала вода, грохотала, переливалась через край и громко билась о деревянную приступку...

Проснулась от стука в дверь.

Это стучала мать, потому что хотела убедиться, что она не ослышалась и что в квартиру действительно кто-то вошел.

Так и есть, на кровати, отвернувшись лицом к стене, не сняв пальто, поджав под себя левую ногу, лежит молодая женщина с открытыми глазами.

— Ты бы хоть разделась, что ли, — почти прокричала, брезгливо поджав губы и закатив глаза.

Дочь тут же прикрыла руками перламутровые пуговицы в ответ.

Закутала голову шарфом, пытаясь никого не видеть и не слышать.

Поджала ноги к животу, чтобы унять озноб и блуждающую где-то в глубине желудка ёкающую боль.

Стала шевелить пальцами правой ноги, ведь еще в детстве знала, что таким образом можно согреть окоченевшие конечности, которые, как колокольные языки, болтались внутри распухших валенок, благовестили глухо и утробно.

А мать к тому времени уже всю задавала вопросы о посещении врача, о том, что он сказал по поводу увечной ноги, и сама, что показательно, тут же отвечала на эти вопросы, потому как была абсолютно уверена, что ее настоящая дочь ответила бы именно таким образом, именно такими же словами, которые ее совершенно устроят и успокоят, обрадуют и обнадежат, потому что это были ее слова.

Соглашалась сама с собой, ходила по комнате, заложив руки за спину, двигала подбородком, как, вероятно, делал в свое время и Данте Алигьери, подсознательно противопоставляя его (подбородок) длинному крючкообразному носу,

разглагольствовала. Но бывали и моменты, когда она переставала с собой соглашаться, свирепела при этом, воображение ее раздваивалось, она переходила на крик, на оскорбления, в результате чего у нее случались судороги, и она в конце концов без сил валилась в кресло, придвинутое к балконной двери, из-под которой страшно дуло, особенно осенью и зимой.

Так она замирала на какое-то продолжительное время без движения и даже без признаков жизни, но потом, когда приходила в чувство, ощущала себя уже абсолютно больной, простуженной — у нее слезились глаза, першило в горле, ломило затылок, бросало в жар, а на лбу выступала испарина. Все происходило именно так, как в детстве, когда у нее в детстве начинали воспаляться гланды и она заболела, знала до мелочей это состояние, боялась, но и одновременно ждала его, чтобы начать страдать, мучиться и мучить других. А ее мать — Лидия Ефимовна, бабушка ее дочери-инвалида — при помощи ватного тампона мазала ей горло люголем и тоже в свою очередь мучала, даже истязала ее. Сама высовывала длинный свой острый язык, показывая больной дочери, как надо правильно себя вести во время процедуры, говорила долгое — «аааааа», а после завершения процедуры ставила люголь обратно в буфет, где он хранился на второй полке вместе с зеленкой, содой и марганцовкой.

Прятала лекарство до поры, и болезнь отступала до поры, словно у них были свои договоренности, когда истязать, а когда миловать, когда залезать в горло с чайной ложкой, а когда полоскать его теплым раствором календулы.

И вот теперь выходило, что это старое продавленное кресло с продранными до комкастой желтой ваты подлокотниками, привезенное сюда еще со старой квартиры рядом с метро «Пролетарская», было самым опасным местом в доме, потому что именно оно обладало какой-то особенной сверхъестественной силой, приковывало к себе, принимало в свои объятия, а также приносило болезни, на лечение которых уходили долгие месяцы. При этом выбросить кресло было категорически невозможно, потому что оно принадлежало еще деду матери и было привезено в Москву из Евпатории, оставаясь последней памятью об этом старике с фотографии, висящей в прихожей рядом с зеркалом, об этом человеке со странным именем Модест, который всю жизнь проработал табельщиком в конторе судоремонтного завода и хорошо помнил оккупацию, во время которой он дважды чуть не был казнен сначала немцами, а потом своими, партизанами.

Дед — он же прадед, часто спал в этом кресле и, видимо, оно до сих пор хранило все его страшные сны-видения времен войны и послевоенной разрухи.

После очередного воспаления легких, полученного именно во время сидения в этом проклятом кресле, по крайней мере, мать была уверена в этом, она и решила обратиться к Наилу, о котором ей рассказала университетская подруга, та самая, что жила на четвертом этаже и что всякий раз отказывала в просьбах одолжить немного денег.

Вот мать просит свою дочь натереть ей спину отваром из шиповника, настоящего на древесной чаге и огуречной траве, а потом обернуть ее промасленной пергаментной бумагой и накрыть ватным одеялом, чтобы сохранить жар.

После чего мать настоятельно требует от хромоножки немедленно выйти из комнаты, где она лежит таким образом — укутанная, как мумия, дабы не впасть в искушение во время чтения Великого покаянного канона Андрея Критского, который она знает наизусть целиком. По крайней мере, по ее уверениям. Однако никто не давал себе труда убедиться в этом, взяв в руки семидесятипятистраничную брошюру, изданную в Оптиной Введенской пустыни в конце прошлого века.

Дочь покоряется и выходит на кухню.

Дочь вышла на кухню, наконец сняла пальто, но шарф оставила.

Вспомнила, как на этой самой кухне много лет назад она впервые увидела своего

отца, с которым мать не разрешала общаться с самого ее рождения, потому как именно его она винила в том, что девочка появилась на свет с разными ногами.

Воображение почему-то всегда рисовало его благообразным, худым и высокорослым. Таковым он и оказался на самом деле, разве что на правом глазу у него был ячмень, к которому он прикладывал заварку, извлеченную из спитого чая.

Вид при этом отец имел извиняющийся. Он скороговоркой повествовал о том, как простудился во время поездки в командировку в Ленинград в плацкартном вагоне. Спал на второй полке, а из окна сифонило. Прятался, как мог, от сквозняка, зарываясь в пахнущую привокзальной прачечной и углем подушку, кутаясь в простыню, но ничего не помогало, поэтому выглядывал, озирался по сторонам, открывал правый глаз, затем закрывал его ладонью, и лишь под утро уснул.

Проведя весь следующий день на промозглом невском ветру, к вечеру почувствовал себя плохо, но был вынужден провести в этих мучениях три дня — того требовала работа, — поэтому вернулся в Москву с абсолютно заплывшими и гноящимися глазами.

Платформу Ленинградского вокзала смог с трудом разглядеть сквозь щели, образовавшиеся между воспаленными верхними и нижними веками, едва склеенными матовой пленкой из мутноватой жижи.

Своим неожиданным появлением вызвал тогда у дочери жалость и любопытство. Вероятно, даже и хотела бы ему помочь, но как и чем, она не знала. И оставалось только наблюдать за его больным глазом, а еще предупредить, что к восьми вечера вернется мать и ему лучше уйти до ее прихода.

Отец так и поступил.

Неловко попытался обнять ее уже в дверях, но из этой затеи ничего не вышло, потому что жалость к одноглазому чужому человеку (равно, как и к хромоногую) еще не повод к выказыванию чувств, пусть и таким примитивным образом.

Впрочем, что она знала про чувства?

В первую очередь то, что они и есть проявление второй натуры, второго «я», которое не было ни хромоногим, ни уродливым и чувствовало себя абсолютно здоровым и свободным по этой причине. Оно, это самое «я», могло даже испытывать к себе настоящую любовь, нежность, а также обладало знанием того, на что именно оно способно, в чем талантливо, а в чем безнадежно бездарно. Другое дело, что решиться признаться в этом своему двойнику было невыносимо трудно, даже мучительно, потому что риск разочарования в том, что ты являешься не тем, кто есть на самом деле, и наоборот, был чрезвычайно велик. И не оставалось ничего иного, как предавать ежечасно себя, свои чувства, помыслы, желания, чтобы незыблемо хранить личину, к которой привыкли все вокруг, и твоя мать в первую очередь.

Мать всегда права: «Если меня Наиль вылечил, то и тебя вылечит, если я говорю, что семейство Зиминых — подонки, то так оно и есть!»

Очень хорошо запомнила случай, как однажды перед Новым годом на остановке Саша Зимин неожиданно обнял ее за плечи и крепко прижал к себе. Она подумала, что сейчас умрет от переполнивших ее чувств или задохнется от счастья в попытке надышаться мгновением, о котором она мечтала всю жизнь, как ей казалось. Однако когда выяснилось, что он сделал это лишь потому, что испугался, как бы она не поскользнулась и не упала под колеса подъезжающего трамвая, все тут же покрылось мраком полного помрачения рассудка, как часто бывало у ее матери.

Наследственное, что ли?

Значит, это был просто инстинкт, дань хорошему воспитанию или каким-то только ему ведомым воспоминаниям, но не более того! Закрывшись у себя в комнате, она тогда долго и истошно кричала в подушку проклятия в адрес человека, который просто по воле случая оказался в ту минуту рядом с ней.

Уж лучше бы он толкнул ее под проносящийся мимо «дефектоскоп», на

контроллере которого стоял вагоновожатый в офицерской шинели со споротыми погонами, ведь он вовсе и не собирался останавливаться, управлял устройством сосредоточенно, по инструкции, имел вид неприступный и суровый, который прятал под целлулоидным козырьком форменной фуражки.

Так и мыслилось в ту минуту — да, конечно, лучше бы толкнул ее, дуру такую, под проходящий вагон, чтобы разом все закончить, и при этом стал бы вместе с грудастой дылдой Михалёвкиной из параллельного класса кричать до хрипоты: «Это она сама поскользнулась, даром что хромоногая!»

А еще была жалость к самой себе, за которой в конечном итоге не стояло ни любви, ни нежности, ни сердечного горения, но лишь отражение в зеркале, в которое хотелось плевать и расцарапывать ногтями стекло, спасительно думая, что уязвляешь таким образом своего двойника.

Хотя унижала и уязвляла лишь саму себя. Исключительно саму себя.

Тем временем, укутанная в одеяло, как мумия, мать думает о том, чем сейчас занимается на кухне, в ванной ли комнате молодая разноногая женщина, которая называет себя ее дочерью.

— Сладкими влеком страстей своих оскверняешься, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и странен от Бога: его же ты подражала еси умом, о душе, сладострастными скверными... — бормочет при этом скороговоркой слова из Андрея Критского, не вполне вдаваясь в их смысл, но пребывая в полной и горделивой уверенности в том, что правда на ее стороне хотя бы потому, что она знает эти слова наизусть, а двойник ее дочери — нет.

Стало быть, ей просто повезло, а молодой женщине, у которой левая нога короче правой, нет, притом что она, эта молодая женщина, довольно часто присутствовала на Евхаристии, стояла поодаль или сидела поодаль и читала молитвослов, в котором, разумеется, тоже был напечатан Великий покаянный канон.

Стало быть, это вопрос случая, везения, и не более того.

* * *

На сей раз с автобусом повезло.

Он подъехал ровно тогда, когда Зимин вбежал под железную крышу-козырек остановки.

— Ага! — закричал.

Тормоза издали протяжный свист.

Автобус остановился, качнувшись на рессорах, и заскрежетал раскладными дверями, дохнул в темноту густым, вперемешку с масляным прогаром духом печки, установленной рядом с местом водителя.

Как и замышлял, Саша сел около гудящего вентилятора, придвинув ноги к самой решетке, из которой вырывался горячий воздух, и почти сразу почувствовал, как тепло начинает входить в него, вытесняя озноб и туманя сознание.

Огляделся по сторонам: на заднем сидении притаился старик в ушанке, надвинутой на самые глаза, а через проход, у противоположного окна сидела высокая худая женщина в плаще-дождевике, накинутом поверх грубой вязки шерстяной кофты.

Больше в автобусе никого не было.

Двери захлопнулись, и едва различимый в темноте пейзаж за окном поплыл назад, постепенно набирая скорость.

Всё тут же и смешалось в кучу — грохот посуды на кухне, надрывные крики соседей за стеной, вой сквозняка в печном воздуховоде, треск разошедшегося паркета, тяжелые шаги на лестничной площадке, клацанье железной лифтовой двери, заунывное пение дворника, каркающий собачий лай, урчание перлового отвара в собственном желудке, грозные окрики отца.

Да, Саша прекрасно знал, что Василий Дмитриевич бывает грозен порой.

Особенно когда приходит домой с работы и находит непорядок буквально во всем.

Это любимое слово — «непорядок» — видимо, пришло еще из семьи его отца, служившего в Сухиничах в звании майора в автомобильном батальоне. Зимин-старший требовал от жены, матери Василия Дмитриевича, чтобы сапоги его всегда были начищены, чтобы на ужин всегда подавались горячие солянка или борщ, чтобы, наконец, домашние не мешали ему отдыхать в выходные дни. Нарушение же этих раз и навсегда заведенных правил и было тем самым пресловутым непорядком, даже хаосом, наступление которого в понимании отца Василия Дмитриевича знаменовало приход последних времен.

И тогда ему самому с исключительно скорбным видом приходилось показывать, как именно следует поддерживать порядок в доме, как чистить яловые офицерские сапоги, как мыть посуду или варить в эмалированной кастрюле огромный кусок мяса на кости, полученный в пищевом заказе на армейской кухне.

Потом он выходил на крыльцо деревянного двухэтажного дома, где в однокомнатной квартире на первом этаже жил вместе с женой и сыном, садился на скамейку, устроенную под навесом рядом с поручнями, доставал папиросу и закуривал.

Размышлял о том, что подарить супруге на Восьмое марта. Вернее сказать, мысленно выбирал между присмотренным в Военторге мельхиоровым кулоном в виде амфоры и духами «Красная Москва». Склонялся к первому, потому что второе находил банальностью. Затем, докурив папиросу, бросал ее в прибитую к поручню пепельницу, сооруженную из консервной банки, и шел в этот самый Военторг, где и приобретал кулон.

Просил продавщицу примерить его на себя, дабы убедиться, что жене его подарок понравится, представить по возможности супругу в этом украшении. Продавщица соглашалась, разумеется, хотя и не была похожа на жену деда, то есть на бабушку Саши. И он совершенно удовлетворялся увиденным.

Говорил: «Красивая вещь, должна моей понравиться».

А ведь этот кулон в виде амфоры еще совсем недавно хранился в верхнем ящике туалетного столика среди прочих семейных реликвий и безделушек. Потом, правда, куда-то пропал.

Над лобовым стеклом перед водителем висели разные безделушки.

Они раскачивались во время движения, трепетали, металась перед полусонным взглядом Зимина, что, видимо, и стало причиной его смутных воспоминаний о бабушкином кулоне, в котором она даже, кстати сказать, сфотографировалась однажды, о чем ему рассказывал отец и показывал эту фотографию. Однако фотография эта тоже куда-то пропала, словно бы все, связанное с мельхиоровым кулоном, должно было исчезнуть как вещественное доказательство какого-то странного, ничего не значащего эпизода или, по крайней мере, не имеющего в понимании Саши своего логического объяснения.

Думал, что согреется у автобусной печки и уснет немедленно, но нет, совершенно не ожидая от себя подобного, принялся напряженно всматриваться в застекленную темноту.

Впрочем, видел только салон автобуса, освещенный лампами в пластмассовых плафонах, да пассажиров, отражающихся в окнах. Вот если бы свет в салоне выключили, то пространство сразу бы поменяло свои границы, выросло бы до пределов далеких, мерцающих в зарослях огней, что напоминали зрачки лесных обитателей, которые в светлое время суток таятся, а в сумерках, ближе к ночи, выбираются из своих теснин, нор и сооруженных в дуплах деревьев лежищ.

Пробовали голос — курлыкали, хрипло лаiali, урчали, пытались даже выть, но делали это с осторожностью, потому что местные лесники были вооружены и запросто могли пристрелить. Это было всем хорошо известно.

— Не смотри в темноту, глаза испортишь, — перегнувшись к Зимину через проход

между сиденьями, проговорила высокая худая женщина в плаще-дождевике, накинутом поверх грубой вязки шерстяной кофты, — у меня вот брат всю жизнь проработал путевым рабочим в метро — сутки через двое, ремонтировал проводку в тоннелях, теперь минус пять на оба глаза.

Сказала и вновь откинулась на сиденье.

Хорошо, не будет он смотреть в темноту.

Не будет напрягать зрение.

Отвернется от окна и даже закроет глаза, чтобы превратиться исключительно в слух.

Начнет от нечего делать перебирать известные ему звуки, а для неведомых будет придумывать названия.

Вообще-то раньше он уже занимался подобными вещами, другое дело, что всякий раз забывал сочиненные названия, порой весьма и весьма оригинальные, и приходилось их придумывать заново.

Колол орехи плоскогубцами, разламывал скорлупу, словно переключал металлические тумблеры.

Высовывал в окно стеклянную банку и слушал, как она гудит на встречном ветру, словно вентилятор автобусной печки.

Скреб ногтями по дерматину сидения, пытаясь воспроизвести скрежет тормозов.

Напрягал слух и для этого даже заклепывал закрытые глаза ладонями, чтобы понять, что означают бьющиеся о стекло автобуса желуди, которые горстями разбрасывает столетний дуб, нависший над дорогой и вздыбивший асфальт своими звероподобными корнями.

Словно град по жестяному карнизу.

Словно прободение грозовой каменной тучи.

Убрал ладони от глаз, но глаза не открыл и тут же стал воображать, где именно сейчас мог ехать автобус, где и как мог блуждать по пустым аллеям, просекам, как, громко перегазовывая, пробирался впритирку к глухим деревянным заборам, из которых складывались бесконечной длины извивающиеся коридоры, как грохотал рессорами на выбоинах, проваливался по ступицу в ямы, заполненные водой.

Когда Саша приехал домой, то застал отца на кухне пьющим воду из-под крана.

Жадно глотал.

Тер подбородок.

Рассказывал при этом, что у них на «Темпе» изобрели электрическое реле для самостоятельного выключения телевизора, если телезритель вдруг уснул перед голубым экраном.

— Как такое возможно?

— А вот так! Есть, есть у нас умельцы!

При этом отец икал и захлебывался.

Смотрел на сына сквозь вихляющую струю.

Изображение двоилось.

Видел перед собой как бы двух мальчиков, двух сиамских близнецов, сросшихся не на шутку, чьи фигуры то сливались в одну, то разветвлялись, то просвечивали друг сквозь друга, то наползали друг на друга, и могло показаться, что они душат друг друга в объятиях.

* * *

Обняла себя за колени, подложив под левую ногу сапог, и так долго сидела, глядя перед собой в одну точку.

После того как мать неудачно пыталась повеситься, протестуя таким образом против замужества дочери, поняла, что они теперь с ней неразлучны.

Парадоксальное умозаключение, право, объяснение которому не лежит на поверхности, но сокрыто и даже под пытками не будет обнародовано.

То есть, по логике вещей следовало бы после происшедшего убежать из дома, например, позвонить Андрею Звонарёву, который был безнадежно влюблен в нее еще с первого курса института, и уйти к нему жить, но ничего этого не произошло.

Неуклюже оправдывалась таким образом, что не любила Звонарёва никогда и потому не могла к нему уйти жить. Хотя где-то внутри, в глубине, не могла не признаться себе в том, что это вымученная ложь.

Да, какое-то мучительное чувство, сходное с выворачиванием себя наизнанку, попытка сопоставить факты из своей и материнской жизни, попытка, приводящая к выводу, что мать и является ее настоящим двойником, а она — материнским.

С отцом она познакомилась, когда ей исполнилось пятнадцать лет.

Он встречал ее у школы и провожал до дому.

Одноклассники усмехались в недоумении.

Всю дорогу, пока шли, он рассказывал о себе. На вопрос, почему появился только сейчас, отвечал, что ее мать прогнала его из дому, когда узнала, что на стороне у него тоже есть ребенок.

«Да, — разводил руками, — испугался твоей матери, потому что она хотела меня убить, зарезать кухонным ножом!»

Она как раз только что родила и была не в себе.

Размахивала кухонным ножом, заходила в крике, а потом нож выпал у нее из руки, слава богу, и улетел куда-то в прихожую под шкаф. Тогда-то отец и бросился бежать, а ее истошные вопли еще долго звучали на лестничной площадке, преследовали его и в кабине лифта.

Мать страдала клаустрофобией и поэтому лифтом никогда не пользовалась, ходила пешком.

Ей казалось, что, оставаясь на месте, пол, потолок и стены замкнутого пространства начинают неотвратимо сдавливать ее, и ничего нельзя было с этим поделать. Сначала сковывало отчаяние, но довольно быстро ему на смену приходил экстаз, перевозбуждение, и мать начинала истошно кричать, как тогда на своего бывшего мужа и отца их хромой дочери, задышаться, закрывать голову руками, как бы пытаясь из последних сил удержать накрывший ее потолок.

А тем временем лифт остановился, и отец выбежал из парадного на улицу.

— А ведь могла и зарезать, порешить меня во цвете лет, психичка чертова! — повторял про себя безостановочно, пока шел к метро.

Когда дочке исполнилось пять лет, у матери появился поклонник, известный журналист-международник, который публиковался под псевдонимом Хрусталёв.

Часов в девять вечера мать укладывала ее спать и уезжала к Хрусталёву до следующего утра.

Девочка закрывала глаза, делала вид, что спит, но на самом деле не спала, а лишь притворялась. И когда ключ поворачивался в замке, она вставала с кровати и начинала ходить по квартире.

Всякий раз во время этого хождения попадала в едва освещенный тусклым бра туннель, который вел ее из комнаты матери на кухню.

Щелкала выключателем.

Прислушивалась к звукам, которые доносились с той стороны дома, где никогда, даже ночью, не затихала жизнь, потому что транспортная развязка там всегда стояла в пробках, копошилась сотнями мигающих красных огней.

Радовалась, что не одна она сейчас не спит.

Заглядывала в замочную скважину и видела лестничную площадку.

Это место в холодном свете лампы дневного освещения всегда казалось ей загробным, потусторонним, словно бы дверь разделяла мир живых, где сейчас была

она, и мир мертвых, куда к Хрусталёву ушла ее мать, где из Лимба в ледяное озеро Коцит и обратно курсировал лифт.

Но об этом она узнает позже.

В отличие от матери она не боялась замкнутого пространства. Даже любила оставаться в комнате одна, закрывать дверь, наглухо зашторивать окна, прятаться под кроватью, ложиться там на спину такими образом, чтобы панцирная сетка выдавливала на лицо ромбы ватного тюфяка, как тесто, как зубную пасту или крем.

Небеса кремового цвета.

Вата грозовых облаков.

И вот грозовой фронт надвигается, перекрывает собой горизонт, который уже и не различишь в дымке, состоящей из дождевой пыли.

В такие минуты мать начинает умирать от головной боли, вернее сказать, от предвкушения того, что последует после первых раскатов грома и порывов пронизывающего, словно из подвала-ледника вырвавшегося, ветра.

Тогда мать встает на колени перед кроватью, упирается головой в тюфяк и начинает с ним разговаривать.

Она молится.

Она хочет заговорить боль таким образом.

Она не знает, что сейчас под кроватью лежит ее дочь и все слышит.

— Ходили к трем сестрам, ходили к трем зорям, пили три воды — талую, дождевую, ключевую. Утром вставали, по травам босиком ходили, подол в речке мочили, читали наизусть: «Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. В чисто поле выйду, стану смотреть на солнце, что из-под земли вылазит, буду молиться двум зорям, двум сестрам: утренней заре — Ульяне, вечерней — Маремьяне. Буду указательным пальцем голову обводить, буду сестрам так говорить — возьмите мою боль из головы и кружение, снесите их за море-окиян и утопите там в глубине, где живет Поддонный царь, а у него борода до дна».

Дочь слушала этот заговор и представляла себе, как царь, у которого из ноздрей нескончаемым потоком идут воздушные пузыри, берет головную боль и кружение и бросает на илистое дно себе под ноги, начинает топтать их сапогами, чтобы они не могли всплыть на поверхность.

И тут же поднимается взвесь, а в бороде Поддонного царя застревают дохлые рыбы и водоросли, слепые личинки и мальки, мидии и рапаны, рачки-циклопы и улитки.

Он трясет своей бородой с остервенением.

Мать тряслась от первого, наиболее нестерпимого приступа боли.

Панцирная сетка тряслась и позвякивала.

Дочь тряслась от страха, потому что происходило великое буйство.

Но потом все постепенно затихало, и взвесь оседала на сапоги Поддонного царя, который становился совершенно недвижим.

Каменел буквально.

Второй приступ был уже не таким сокрушительным, и оставалось лишь скрежетать зубами и мычать.

Когда дочь впервые услышала мычащую мать, то очень сильно испугалась, потому что подумала, что она разучилась говорить и превратилась в животное, в парнокопытное. Но со временем привыкла и даже перестала обращать на это внимание, вот разве что скрежет зубовный был неприятен для уха. С такими звуками на кухне двигались по чугунным направляющим кастрюли, сковороды и судки.

Наконец приходил третий приступ, после которого мать вытирала холодный пот со лба, заворачивала голову в простыню, а затем беспомощно опускала руки, и можно было подумать, что она оплакивает кого-то.

Пьета — в переводе с итальянского «жалость».

Ей было жалко саму себя до слез, до изнеможения, до уже описанного выше мычания.

Как правило, на следующий день после припадка болезни мать не могла разговаривать.

Вполне возможно, что на какое-то время она просто забывала слова. Они казались ей бесформенными камнями с острыми краями, о которые можно было поранить язык и нёбо. Они набухали в гортани, просились наружу, но сколь невыносимо страшно было их исторгнуть из себя.

— Мама, да нет у тебя во рту никаких камней!

Мотала головой в ответ: «Есть, не спорь со мной!» Точно знала, что есть, и начинала плевать.

Дочь уходила.

Дочь выбиралась из-под кровати.

Слипались глаза.

В горле першило, как будто бы наглоталась дыма.

Дым стелился по земле.

Так было, когда они вместе в Сокольниках жгли яичную скорлупу и обертки от куличей после Пасхи.

Забирались для этого как можно глубже в парк, находили исполосованный поваленными деревьями овраг, собирали хворост, мокрый по преимуществу, и пытались его запалить. Он не горел и вонял, стрелял едким дымом. Приходилось все начинать сызнова, раздувать, ползать по земле, и так несколько раз, пока наконец ветки не начинали трещать и корчиться, выдавливать из себя языки пламени, на съедение которому бросали остатки недавних пасхальных радостей.

Оно их пожирало.

Оно все пожирало.

Отдергивали руки со смехом.

Искры летали и покусывали.

Дело в том, что просто выкидывать освященные предметы в мусоропровод нельзя, но дозволительно их предавать огню.

Из мусоропровода тянуло сыростью и подвалом-ледником.

Итак, дым от костра стелился по оврагу, слезились глаза, першило в горле, порывы ветра придавливали языки пламени к самой земле, разносили яичную скорлупу, и приходилось при помощи суковатой обглоданной жуками-короедами палки возвращать ее обратно в геенну огненную.

В ожидании, когда прогорит, молодая женщина садилась на поваленное дерево, потому что не могла долго стоять на одном месте, и смотрела на свои ноги разной длины, а матери только и оставалось, что отводить взгляд от дочери, которую она дочерью толком-то и не считала.

Наконец все прогорело, и они медленно брели домой.

Мать впереди, двойник дочери сзади.

Двойник приволакивал правую ногу и сгребал таким образом прошлогоднюю палую листву и остатки грязного снега.

А ведь в детстве так до утра и бродила по пустой квартире, прихрамывая, пока где-нибудь не падала без сил и не засыпала. А на следующее утро мать, вернувшись домой от Хрусталёва, обнаруживала ее в ванной или на кухне, в коридоре или под столом, и перекладывала в кровать.

Так повторялось от раза к разу.

* * *

На зиму обитателей фонтана «Дружба народов» прятали в деревянных ящиках. Как-то по телевизору Саша смотрел передачу, в которой рассказывали о том, что именно таким образом хоронят горняков в вертикальных шурфах, кажется, где-то в Андах.

Стоя.

Вот они и стоят на берегу потока, имеющего ледниковое происхождение, высаятся по стойке «смирно», задрав головы, словно изготовились возопить змием, а во рты им лопатами вперемешку с глиной и камнями закидывают землю, и закрыть эти рты уже нет никакой возможности.

Когда же работа землекопов заканчивается, то ящики заколачивают и на веревках опускают в шахту.

Потом гасят масляные лампы, чтобы их свет не беспокоил сон мертвецов, и в полной темноте читают отходную молитву: *Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.*

Однажды договорились с хромоножкой встретиться на ВДНХ после школы, но — чтобы никто не узнал, чтобы никому не попасться на глаза.

На место Зимин прибыл на трамвае уже в сумерках перед самым закрытием.

Купол павильона «Космос» плыл в морозной мгле, и могло показаться, что он парит над местностью, оторвавшись от снопов колосьев, нагромождений перезревших, терпко пахнущих гнилью овощей и фруктов, колонн в виде сплетающихся стволов деревьев. То поднимался, играя бликами закатного зарева, то прятался в испарениях Яузы, отражаясь в черной неподвижной воде в перевернутом виде.

Напоминал чашу.

Напоминал воронку.

Напоминал рукомойник, куда всякий раз приходилось заглядывать отцу, когда он пил воду из-под крана.

Саша шел мимо деревянных ящиков, в которых теснились вызолоченные девы с букетами цветов, убранные лентами, украшенные венками, наряженные в сарафаны и картули, войлочные шапки и халаты, кушаки и хитоны.

Любопытствовал, разумеется.

Заглядывал в щели между неплотно пригнанными друг к другу досками ящика, подсматривал за одной из бронзовых дев, которая прижимала к груди букет, собранный из осенних листьев, из тех, например, что в Сокольниках дворники сгребают граблями в кучи и поджигают.

Едкий густой дым напоминает куски ватина.

Щиплет глаза.

Впрочем, Саше не раз приходилось наблюдать, как из этих самых палых листьев гуляющие в парке составляют букеты.

Однажды за этим занятием он застал мать хромоногой.

Это было пару лет назад, когда дома он говорил, что после школы идет на секцию, на секции говорил, что задержался в школе, а на самом деле направлялся в парк.

Лукавил.

Увидел перед собой женщину, которая собирала кленовые листья, складывая из них букет, примеривала его у себя на голове, вернее сказать, поверх горчичного цвета мохеровой шапки, а еще вставляла листья в рукава драпового пальто.

Зимин таился за деревьями, чтобы не быть замеченным, впрочем, предосторожность оказывалась тщетной, потому что женщина была совершенно отрешена.

Листья сыпались у нее из рукавов. Она что-то бормотала себе под нос при этом — читала стихи, молилась, стучала зубами от холода? Черт ее разберет.

Так они дошли до конца четвертого лучевого просека и оказались на берегу Путяевского пруда.

Это место Саша хорошо знал, и было столь удивительно, что после всех этих бессмысленных блужданий по парку они окажутся именно здесь.

Шел среди деревьев, вывернув голову вправо, упираясь подбородком в плечо, решительно отказывался смотреть вперед и уж тем более себе под ноги, а ветки хватили за капюшон, опустошали карманы, сея хлебные крошки и обрывки трамвайных билетов, вычерчивали на щеках царапины, приходилось жмуриться, как при сильном ветре. Носками ботинок цеплялся за поваленные стволы деревьев, и он несколько раз чуть не упал, но устоял на ногах, а вязаная шапка совсем съехала на глаза, вспотел, одурел, покашливал, ободрал ладони о наждачную обледеневшую кору, но драповое пальто при этом не пропадало из поля зрения — оно то обрастало листьями, щетинилось ими, оживало, то неожиданно облетало под действием рукавов, и порой казалось, что внутри него никого не было.

И вот тут-то он решил напугать мать хромоножки.

Просто так, ради смеха что называется.

Сложил ладони у рта рупором, вдохнул горячий пар из-под шапки, ведь специально не стал ее поправлять, и завыл, изображая хищника, разве что не встал на четвереньки, да и фонаря не нашлось, на который можно было бы поголосить.

Женщина замерла на месте.

Оцепенела.

С противоположной стороны пруда до нее донесся протяжный волнообразный звук: то ли собачий вой, то ли долгий гудок маневрового тепловоза на Маленковской.

Нет, никогда раньше она не слышала этого гула, как, впрочем, и того, что живет внутри водоразборной колонки, надрывно завывает, корчится, скрежещет рычагами вслед за чугунным поршнем, всасывающим пахнущую глиной воду, проваливается в созданную давно и надежно проржавевшим водопроводом воронку.

Да и где она могла его слышать?

Разве что в детстве, когда жила у деда в Евпатории.

Там во дворе, кажется, была именно такая колонка.

Ну конечно, конечно, этот звук ей казался хорошо знакомым, будто бы даже слышанным неоднократно, например, при наступлении грозы, или во время очередного обострения болезни, когда сквозь шепоты и стоны, бормотания и крики, грохот крови в голове и урчание газов в пустом, перекрученном судорогой желудке, прорываются слова — знаки, крюки, иероглифы, титла, прописные, строчные, аббревиатуры, сокращения, заимствования, кальки, снова знаки, снова крюки, корни, тайные шифры, приставки, суффиксы, слова, состоящие из многих смыслов и односоставные, состоящие из бессмысленного набора букв и одной повторяющейся литеры.

Перестал выть.

Зачем он ее преследовал и хотел напугать?

Ответил же себе — просто так, ради смеха.

Но правдив ли был этот ответ?

Да, хорошо запомнил их первую встречу у парадного подъезда, когда как-то после школы провожал ее хромую дочь домой.

Мать смерила его презрительным взглядом, закурила, посоветовала больше думать об учебе, а не о девочках, открыла дверь и, обращаясь к дочери тоном, не терпящим возражений, провозгласила: «Проходи!»

Подъезд грохнул.

Дверь захлопнулась, а Зимин так и остался стоять один под бетонным козырьком, с которого свисали затвердевшие в виде полипов сгустки гудрона.

Получается, что затаил обиду и решил отомстить таким вот образом.

Стало быть, сказал неправду. Вовсе не ради смеха напугал, но ради наказания,

чтобы она тоже ощутила унижение и страх, которые почувствовал он тогда, стоя рядом с ее дочерью под бетонным козырьком.

Видел, как она испугалась в Сокольниках, как заметалась, как прижала листья к груди, и у нее закатились глаза.

Известно, что у мраморных и бронзовых изваяний тоже отсутствуют зрачки, и они похожи на слепых.

Саша всматривался.

Всматривался в лицо бронзовой девы, заколоченной в деревянном ящике.

Вспомнил, что в той же передаче о захоронениях шахтеров в Андах говорилось о том, что оказавшись в безвоздушном пространстве глубоко под землей, тела усопших становились не подверженными тлению и так могли сохраняться десятки лет.

Потом долго бродил среди закрытых на зиму едва проступающих сквозь снежную мглу зданий в мавританском стиле, колоннад, скамеек и декоративных ваз, пока наконец не оказался перед северным порталом павильона «Космос».

Отец рассказывал, что они у себя на «Темпе» специально для этого павильона выпустили партию цветных телевизоров, по которым шли прямые трансляции стартов с космодрома Байконур. Тогда на эти показы собирались огромные толпы, даже привозили специальные экскурсии из ближнего Подмосковья.

В зале выключали свет, и из десятков телевизионных экранов начинал звучать обратный отсчет: десять, девять, восемь, семь...

Саша всякий раз при этом явственно ощущал, как сжимается время, а непривычный счет, наоборот, с каждой следующей цифрой казался все более и более угрожающим.

Впрочем, это и понятно, потому что после нуля наступала бездна, не было ничего, и Зимин пытался представить себе это *ничего*.

Поднимал взгляд к потолку, которого не было, но была бездонная перевернутая сфера купола, и думал, что *ничего* именно так и выглядит — теряется в темноте, улавливает звуки, рождает эхо, блуждающее в стальных клепаных перекрытиях.

Потом телевизионные экраны одновременно выключались, и в зале вспыхивал свет. Зрители начинали восторженно обсуждать увиденное, толкаться, гомонить, указывать на потухшие мониторы, вероятно, до конца не веря в то, что еще несколько мгновений назад они стали свидетелями запуска космического корабля.

Бывали, конечно, случаи, что телевизоры ломались, перегорали, начинали трещать, и тогда мастерам приходилось вскрывать лакированные ящики телевизионных приемников, вынимать из них лампы, провода, предохранители, прочие внутренности, так наступало время шелкать специальными переключателями, пользоваться паяльниками и оловянными слитками.

Оловянные глаза статуй на ВДНХ.

Отец не любил вспоминать об этих поломках, потому что за них его как главного инженера завода лишали премии.

Саша сел на деревянный ящик рядом с боковой дверью северного портала и принялся ждать.

Ему было хорошо знакомо это чувство, когда ты приходишь загодя, задолго до назначенного срока, и теперь имеешь возможность унять волнение, что ты опоздаешь, что будешь торопливо и весьма нелепо оправдываться за это опоздание, врать, скорее всего, что само по себе отвратительно, от чего даже начинает болеть живот, а на лбу выступает холодная испарина. Когда же всего этого удастся избежать, придя к месту встречи заблаговременно, то радость подступает как-то исподволь, удаль рождает улыбку, есть возможность оглядеться по сторонам, перевести дыхание и обрести в затянувшемся ожидании уготование предстоящей встречи.

Так как же ее звали?

Она проговорила что-то невнятное, слишком тихо, почти шепотом, и он не расслышал, а переспросить почему-то постеснялся, подумал в ту минуту, что в любом случае узнает ее имя хотя бы тогда, когда к ней будут обращаться другие одноклассники. Но время шло, и эти обращения никем не произносились, скорее всего потому, что ее имени никто не знал, и все, совершенно уподобившись Зимину, ждали произнесения имени кем-то другим.

Так и общались без имени.

Сначала это было странно, непривычно как-то, но потом все привыкли, и она привыкла, тем более что мать ей постоянного говорила, что имя есть только у ее настоящей дочери, и она не откроет его ей ни при каких условиях, потому что она ее двойник.

Катя, Света, Соня, Настя, Юлия, Лена, Надя, Лиза, Аня, Вера, Лида, Тома, Ира, Валя, Галина — из сотни имен выбрать одно правильное, не зная его, думается, было невозможно.

Бывали, конечно, случаи, когда возникала неловкая ситуация, путаница ли:

— Ты же говорила, что тебя зовут Нина? А теперь говоришь, что ты — Маша...

— Я так не говорила...

— Говорила, — настаивали одноклассники и обступали ее со всех сторон.

— Я пошутила, — пыталась улыбаться, но будучи уличенной во лжи, кривилась, прятала глаза, заслонялась рукавом пальто, боясь, что сейчас ее начнут бить.

— Да отстаньте вы от нее, — вступался за хромую Зимин. — У нее мать сумасшедшая.

— Сам ты сумасшедший, Зимин! — кричала Маша-Лиза-Надя-Аня-Катя-Рита в ответ и начинала плакать.

— Дура!

— Сам дурак.

Все расходились, и в школьном дворе оставалась только девочка, под левую ногу которой был подставлен кирпич.

На ВДНХ она так и не пришла.

Это уже потом выяснилось, что мать, неожиданно вернувшись с работы раньше положенного, встретила дочь уже в парадном и, узнав, куда она направляется, вернула ее домой.

* * *

Бывали случаи, что засиживалась на работе допоздна.

И происходило это вовсе не потому, что осталось много неотложных дел, выполнить которые не удалось в течение дня, а потому что возвращаться домой не было никакого желания.

Сотрудники уходили один за одним, выключая настольные лампы, кланялись на прощание, говорили: «До завтра», и она в конце концов оставалась в редакции одна.

Скрипели половицы.

Могли звонить телефоны на столах.

Она подходила к окну и подолгу наблюдала за движением электричек, поездов дальнего следования, товарняков и маневровых тепловозов, за перемещением красных габаритных огней и вспышками на линии контактных проводов.

Редакция находилась на задах Курского вокзала, с которого когда-то в детстве она с матерью ездила в Евпаторию. Смотрела в вечернюю пустоту, дышала на стекло, отчего изображение тут же теряло свои очертания, расплывалось, но она стирала ладонью испарину, и тут же из одной тьмы в другую уезжала последняя электричка во Владимир, грохотала на мосту через Яузу, отражалась в черной воде своими огнями и лицами немногочисленных в это время и в своем большинстве спящих пассажиров.

Она понимала, что надо уходить, но никак не могла себя пересилить, не могла

себя заставить выключить настольную лампу, сдать на вахте ключи, выйти на улицу, направиться к метро и спуститься в него, чтобы оказаться в огромном подземном пантеоне, более напоминавшем святилище Веспасиана и Тита, где на сводчатом потолке и колоннах портала были выбиты слова из «Божественной комедии» Данте:

Нет слов таких, чтоб ими я решился
Лес мрачный и угрюмый описать,
Где стыл мой мозг и ужас тайный длился...

Впервые прочитала эти слова, когда училась в десятом классе.

Выключала настольную лампу и наугад, в темноте, брела к выходу, успокаивала себя тем, что по прибытии домой не застанет мать на кухне, не будет подвергнута допросу, почему она так поздно пришла, и наконец, не станет свидетелем того, как мать истязает свои узловатые, обезображенные артрозом руки, выкручивает пальцы, причиняя себе нестерпимую боль, корчится, кусает пересохшие губы.

Успеет, успеет проскочить к себе в комнату незамеченной и закрыть за собой дверь!

С этой надеждой проходила мимо вахтера, который, в свою очередь, прятал сданные ею ключи в специальный стеклянный шкаф и приговаривал:

— Заработалась, заработалась совсем.

На улице наступало облегчение, потому что страхи отлетали в ночное небо.

Она расстегивала пальто, но холодно при этом не становилось, скорее, как-то привольно, все забывалось, словно бы выветривалось, а боязнь простудиться и получить воспаление легких отступала.

Почти бежала по набережной Яузы, совершенно не ощущая при этом своей хромоты, не думая о ней, но более помышляя о том, что врожденное увечье, скорее, существует у нее в голове, происходит оттуда, и потому она вынуждена постоянно беседовать с ним как со своим вторым «я».

Перекликаться.

Обмениваться взглядами.

Видела себя в такие минуты как бы со стороны, домысливала собственное поведение, слова и поступки, а над ее головой по Андроникову виадуку в это время проносились электричка.

Грохотала.

Сотрясала бетонные опоры моста.

Оказавшись здесь, пользовалась стечением обстоятельств и загадывала желание — закрывала глаза и хлопала в ладоши, потому что именно таким образом якобы можно было уловить желанную удачу, приручить ее что ли. Однако ничего из задуманного не сбывалось, а совершалось, напротив, то, что и предположить-то было невозможно.

Например, возвращаясь однажды вечером после работы, стала невольным свидетелем выпадения из окна восьмого этажа женщины, которая разбилась у нее на глазах.

Как-то, гуляя в парке Сокольники, поскользнулась, упала и никак не могла подняться, а единственный прохожий, коим оказалась женщина в драповом пальто и горчичного цвета мохеровой шапке, в ответ на ее просьбу о помощи, убежала, пряча подбородок в поднятый воротник и заламывая руки.

И, наконец, самое невероятное.

Врач-ортопед, невысокого роста, шуплый, с отсутствующим взглядом человек, печально смотрел на левую ногу молодой женщины, и было совершенно невозможно понять, что он видит в данный момент времени.

Нога ему казалась значительно короче правой, и на предложение пациента каким-то образом удлинить ее он отвечал в присущей ему манере — неторопливо, покашливая, потирая лоб:

— Видите ли в чем дело, — наращивание конечности процесс длительный, сложный, а в вашем случае, увы, невозможный, потому что разница длин правой и левой конечностей имеет врожденный характер, а не стала результатом травмы. Впрочем, могу предложить вам специальный протез, колодку в форме стопы с выточенными в ней углублениями для пальцев и пятки, своего рода искусственную ступню, сделанную из дерева или пластмассы, думаю, что к ней вы привыкнете достаточно быстро и, с большой долей вероятности, вскоре забудете о своем недуге...

Разводил руками, давая понять, что все объяснения исчерпаны и дело остается за малым — пойти на протезный завод и заказать себе эту колодку, специальным образом подогнанную под увечную ногу.

После завершения этого разговора она выходила на улицу, под дождь, брела к трамвайной остановке и размышляла над словами врача о том, что сможет навсегда забыть о своей инвалидности. Но возможно ли это? Никак не могла смириться с мыслью, что ей удастся предать забвению себя иную, ведь она хорошо помнила, как в детстве мать постоянно требовала от нее не хромать, не притворяться разноногой, ступать прямо и ответственно, не заваливаясь налево и не кривляясь. А ведь она и не кривлялась тогда несколько, разве что морщилась и глотала постоянно стоявший в горле ком слез.

Потом подходил трамвай, в который она садилась, вернее, с трудом заползала по ступенькам, переваливалась с боку на бок, повисала на скользких хромированных поручнях, задерживая тем самым отправление.

Задерживая дыхание.

Задерживала дыхание, когда, придя домой, запиралась в своей комнате и, не раздеваясь, ложилась на кровать, отвернувшись лицом к стене. Так лежала довольно долго бездыханная, смотрела перед собой, затем начинала дышать, но тут же и засыпала. Хотя вернее было бы назвать это состояние сумеречным нахождением между сном и явью, балансированием на этой призрачной грани, когда каждое неверное движение могло повлечь за собой провалы в сознании, панический страх падения куда-то в бездну при полной невозможности молить о спасении, потому что есть слова, даже фразы, но отсутствует их звучание.

Начинала метаться на кровати, безмолвно кричать, открывала глаза и видела себя сидящей за столом у окна при включенной лампе.

Что-то сосредоточенно писала в тетради.

Не поднимала головы.

Трогала языком губы, шурилась, и могло показаться, что она кривляется, но это было не так, просто она глотала застрявший в горле ком слез. Как в детстве.

Получалось, что она лежала на кровати и в то же время сидела за столом.

Впоследствии это повторится с ней, когда она будет стоять под Андрониковым виадуком на Яузе, по которому будет нестись электричка, и в то же время из окна этой самой электрички на нее, стоящую на ветру в расстегнутом пальто, загадывающую желание, будет смотреть она же, шуриться, а бетонные опоры моста будут грохотать, и захочется закрыть уши ладонями, чтобы иметь возможность разобрать слова заклинания, произносимого скороговоркой.

Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень Бранденбурга. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит...

— Вот дура-дуреха!

— Сама ты дура! Заткнись!

Нет, ни одно желание не сбылось — не смогла приворожить Зимина сваренными татаринцом Наилем из корней, сухих цветов, куриного помета и березовой коры приворотными средствами, не вышла замуж за Циммермана, который вскоре после неожиданного отказа невесты (просто он не знал, что ее мать пыталась повеситься,

если они соединятся, уехал в Германию), и, наконец, так и не смогла привыкнуть к протезу.

Приходя домой, снимала его и ходила босиком по полу, по которому сифонило из балконной двери.

Просто немилосердно тянуло сквозняком.

Немилосердно и электричка грохотала, выла, а потом исчезала за поворотом стены Спасо-Андроникова монастыря, и можно было перевести дух во внезапно наступившей тишине.

Затем застегивала пальто, потому что становилось холодно, ее начинала бить дрожь, стучали зубы, случались судороги правой ноги, именно правой, а не левой, потому что правая была живой, а левая мертвой, с тем и выходила из-под моста и направлялась к станции метро «Курская».

Торжественно.

Величаво.

Как во времена античности.

В огромном подземном пантеоне, напоминавшем святилище Веспасиана и Тита, было тихо и пустынно, а откуда-то с хоров звучало монотонное: сладкими влеком страстей своих оскверняешься, увя мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и странен от Бога: его же ты подражала еси умом, о душе, сладострастными скверными...

Оглядывалась по сторонам в поисках того, кто мог бы произносить эти слова, которые она не раз слышала от матери. Но нет, тут никого не было, разве что изваяния большегрудых и плечистых существ, что смотрели поверх сакристии, абсид и атриума, тарасили глаза без зрачков, напрягали жилы и мышцы под хлопковыми облачениями, словно совершали какую-то неведомую работу, оставаясь при этом неподвижными, словно изготавливались к чему-то важному, давились от переполнявших их слов, находя извержение последних великим событием.

Великий вход.

Великое славословие.

Великая вечеря.

Великая пятница.

По воскресным дням ходила с матерью в храм, где садилась на скамейку за свечным ящиком и вставала только на чтение Евангелия.

Например, здесь, в этом подземелье, с содроганием представляла себе события этой самой Великой пятницы, чувствовала, как ее короткую левую ногу прибивают к правой кривым кованым гвоздем, но при этом никакой боли не испытывала. Трогала предполагаемое место прободения, даже ковыряла его ногтем, прятала подбородок в коленях, заглядывала под свечной ящик.

— Ты что это делаешь? — Мать нависала над скамейкой, сверлила взглядом. — А ну-ка повторяй за мной: блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить на Меня!

Повторяла:

— Наслаждаюсь одиночеством, плачу безо всякой жалости к самой себе, но жалею многих других, радуюсь тому, что безответна перед лицом несправедливости злословящих на меня, всем прощаю обиды от чистого сердца, не держу зла на тех, кто гонит и унижает, надругается и клеветает...

— Нет! — Лицо матери темнело, словно покрывалось копотью. — Ты лжешь! Говори правду!

— Умираю от одиночества, изнемогаю от жалости к себе, нахожу свою жизнь пропащей, жалкой и раздавленной, задыхаюсь от несправедливости, ведь многие надежды питала и мечты лелеяла, помню все оскорбления и унижения, отчего мое сердце очерствело и уже не способно любить, не прощаю обид, а ночи превращаются

в бесконечный поток воспоминаний, большинство из которых вымышлены, то есть, являются не вполне воспоминаниями, но пересказом событий так, как мне хотелось, чтобы они сохранились в памяти...

Потом они вместе с матерью выходили из храма на улицу и брели к метро, чтобы оказаться в другом храме, облицованном керамической плиткой и белым мрамором, чтобы обрестись в мавзолее, заставленном выкрашенными золотой краской изваяниями трактористов и проходчиков, красноармейцев и студентов.

Мать пребывала в возбужденном состоянии, это было ее обычное состояние после посещения службы. Она сама с собой обсуждала проповедь, в которой шла речь о том, что такое есть страх Божий.

Она возмущалась поведением дочери.

Она находила, что в метро очень душно и пахнет нечистотами, и по этой причине раздувала ноздри, закрывала глаза, вертела головой, словно пыталась увернуться от зловонных потоков, но тут же теряла равновесие, оступалась, пыталась ухватиться за протянутую ей дочерью руку, однако не успевала этого сделать. Только и оставалось, что неестественно вывернуть к левому плечу подбородок и упасть вниз, чтобы там, на металлической гребенке нижней входной площадки эскалатора разбиться насмерть.

* * *

Своего отца Зимин помнил совсем другим, не таким, каким он был, когда выглядывал из раковины, поглядывая на сына с некоторым раздражением и непониманием — действительно ли это его сын Александр, ведь фигура его то пропадала, то вновь появлялась из вихляющей, словно бы припадочной струи, которая лилась из крана.

Отцу казалось, что он видит перед собой не своего мальчика, но другого, абсолютно не похожего на его сына — лопоухого азиата астенического сложения, придурковато улыбающегося, с кривыми зубами и шрамом на подбородке; а сыну, напротив, представлялось, что за ним наблюдает неизвестный ему человек, который нависал над раковиной, зыркал, открывал и закрывал попеременно то правый, то левый глаз, словно бы пытался из двух разделенных извивающимся потоком изображений своего предполагаемого сына сложить одно.

Ужинали на кухне.

Смотрели телевизор, который стоял на подоконнике.

Стекла, конечно, запотевали.

В холодильнике стоял холодец.

Батареи парового отопления гудели.

Из-за стены доносились крики соседей.

Пахло жареной картошкой.

Наверху двигали мебель и ходили по головам.

— Нашли время, — Татьяна Наумовна вставала из-за стола, собирала грязную посуду и сваливала ее в мойку.

Включала кран.

Кипяток заполнял раковину, потому что слив был забит.

Пар поднимался к потолку, и сквозь запотевшие стекла уже невозможно было разглядеть улицу, двор, крытые железом гаражи и глухой деревянный забор Остроумовской больницы.

Конечно, Саша знал в этом заборе одну дыру.

Впервые ее обнаружил, когда пробирался домой после драки с Ковановым по прозвищу Ушастый. Хорошо запомнил, как этот самый Ушастый с видом диковатым и безразличным, криво усмехнулся, при этом у него дернулся подбородок, и коротко со всей силы ударил его в лицо.

Из глаз у Зимина сами собой хлынули слезы, боли он не почувствовал, но

испытал ярость и принялся наудалую махать руками, потому как драться толком-то и не умел. А потом упал с полным ощущением того, что выше колен его перепутали проволокой, сковали и обездвижили.

— Ладно, хватит с него, — устало махнул рукой Алекса, икнул при этом и закрыл глаза. Было видно, что он потерял всякий интерес к происходящему, потому как видал потасовки и поинтересней, да и сам не раз принимал участие в настоящих драках-баталиях, которые заканчивались поножовщиной, вызовом милиции и «скорой», но после того как его самого однажды чуть не зарезали, сделав дырку в правом легком, остепенился и более предпочитал выступать в качестве наблюдателя.

Зимин заглянул в дыру в заборе.

Перевалился через оторванные доски.

Пополз по земле, собирая животом палые листья и больничный мусор.

Долго не мог втащить за собой в эту дыру ноги, потому что зацепился шнурками за отогнутые в разные стороны наподобие растопыренных пальцев гвозди.

А ведь мог еще и расцарапаться в кровь!

Вытер носовым платком пот с лица.

Отдышался.

Он знал Остроуховскую больницу хорошо, ведь раньше часто ездил сюда с отцом к деду в кардиологию.

Дед всякий раз просил подстричь ему ногти на ногах и руках или мог заставить пить вместе с ним принесенный ему клюквенный морс.

Саша давился и пил, стараясь не смотреть на соседнюю койку, на которой, укрывшись с головой, лежал человек, и было совершенно невозможно понять, жив он или мертв, спит или бодрствует.

В поле зрения Саши попадались лишь оплывшие от бесконечных стирок больничные номера на его, полуживого-полунеживого пациента, пододеяльнике, эти номера двигались вниз, как бы стекали к застеленному линолеумом полу, а заходявшие в палату санитары создавали движение воздуха, и возникало ощущение, что все плывет перед глазами, что все пребывают под водой.

Морс пузырился.

— Пей-пей, он полезный, — приговаривал дед.

Дырка в заборе оказалась недалеко от больничного морга, перед входом в который курил санитар.

Увидев Зимина, он нисколько не удивился.

Даже подмигнул участливо:

— Подрался? — и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Молодец, я тоже любил этим в твои годы заниматься... вот, видишь, даже нос сломали...

Потрогал свою переносицу, более походившую на свалку битого кирпича.

Сухо кашлянул.

— Ладно, проходи, умойся, — и указал на низкую металлическую дверь в торцевой части кирпичной пристройки к двухэтажному зданию морга: — Там в конце коридора рукомойник.

Саша решил сделать так, как всякий раз делал отец, приходя с работы — полностью открутил вентиль и засунул лицо под кран, вывернувшись при этом таким противоестественным образом, что заболела шея.

Уперся взглядом в стену, к которой была прибита мыльница.

Там было еще что-то — то ли календарь, то ли обложка какого-то журнала, но разобрать, что именно, уже не получилось, потому что ледяная вода застила глаза.

Начал захлебываться и плевать.

Подумал о том, что здесь, в Остроуховской больнице, вероятно, все так и пребывает под толщей непроглядной и мутной жижи, на дне какого-то неведомого водоема.

«Так и есть, так и есть», — развеселился.

Именно что всё — палата, где когда-то лежал его дед, освещенный лампами дневного света коридор, санитары, кафельные стены, да и он сам сейчас.

В эту минуту.

Умел до минуты задерживать дыхание под водой, например, будучи помещенным на дно аквариума, на стенках которого жили улитки.

Вытер лицо рукавом куртки, огляделся — на стене рядом с заплывшей мыльницей висел календарь за 1997 год.

В этом году, кстати, и умер дед.

Они пришли тогда с отцом к нему в больницу, но врач сказал, что его уже нет, что это произошло рано утром, потому и не успели позвонить и сообщить родственникам.

Койка деда была аккуратно застелена, а на соседней — по-прежнему, укрывшись с головой, лежал человек, и Саша заметил, что он шевелил пальцами на ногах. Почему-то запомнил именно это копошение под простыней. Может быть, они у него замерзли, и он их грел таким образом.

Только сейчас Саша почувствовал, как в морге холодно, холодней, чем на улице.

Вот где-то здесь в девяносто седьмом году и содержали деда, потом его выдали им, после гражданской панихиды погрузили в автобус и повезли хоронить на Кунцевское кладбище.

Все эти воспоминания, как вспышки, — в их возникновении нет смысла, их последовательность необъяснима, а сила озарений разнится.

Зимин грохнул железной дверью, вышел во двор в свет фонаря, прикрученного проволокой к фронтому кирпичной пристройки, и почти сразу выпал из этого слепящего света, чтобы потом блуждать в темноте по больничному двору в поисках дыры.

Нашел, нашел ее в конце концов, просто сначала пошел не в ту сторону, перепутал направление.

Удивился, что дыра оказалась совсем рядом с мертвецкой, много ближе, чем можно было предположить, буквально рукой подать. А еще удивился, что санитар не поинтересовался тогда, откуда это Зимин тут взялся. Видимо, знал про тайный лаз в заборе, сам им пользовался, когда тайком от начальства бегал за сигаретами.

В местном магазине санитара узнавали, конечно, и при его появлении смеялись: «Опять наш гробовщик пожаловал».

Гробовщик много курил.

Имел желтые пальцы, и на некоторых из них не было ногтей.

Зимин пролез через дырку в заборе и вновь оказался на улице.

Недоеденный холодец Татьяна Наумовна вернула в холодильник, протерла полотенцем запотевшее окно на кухне, потом придвинула стул к телевизору и сказала, что посуду помоем потом, а сейчас она будет смотреть сериал.

Это означало, что все должны покинуть кухню.

С тем и покидали — отец шел читать, а Саша садился за уроки.

Так каким же отец был раньше?

Каким его знал?

Задавал себе эти вопросы и отвечал на них так: был добр, дружелюбен, весел, отзывчив, пунктуален, справедлив, честен, остроумен, щедр. Зимин еще долго перечислял эти и подобные им качества, словно заучивал их наизусть, но всякий раз, как ему казалось, придавал им новые значения и новые оттенки — «добрый и сердечный», «веселый и мудрый», «отзывчивый и исполненный чувства собственного достоинства».

Но однажды с работы вернулся совсем другой человек, словно его подменили на

проходной «Темпа», в трамвае или в метро, а может быть, когда он шел от остановки к дому, в парадном или в лифте.

В тот вечер отец устало подошел к рукомойнику и стал мыть лицо, истово его тереть, словно хотел смыть намертво приросшую к нему маску, личину ли.

Тогда он впервые и посмотрел на сына из-под воды, которая хлестала из крана, колотилась о каменный пол, заливалась за воротник купленной ему женой в ЦУМе водолазки, брызгала на стены.

Нет, не то чтобы прежнего отца не существовало вовсе, он, разумеется, остался, сохранился, но теперь как бы таился, исчезал, виновато улыбался, выглядывая из-за спины какого-то другого человека, на которого был похож внешне.

Мокрый ворот водолазки почернел и облепил горло отца. Он не то чтобы не узнавал своего сына, узнавал конечно, но знание это было каким-то иным, особенным, и отличалось от того опыта, который складывался годами.

Ежедневно.

Ежечасно.

Ежеминутно.

Саша смотрел на этот ворот, как на бакелитовый створ телефонной трубки, и думал про себя, что, может быть, это он так изменился, и это отец недоумевает, что произошло с его сыном, куда, например, навсегда ушли взаимопонимание и полное отсутствие страха услышать в ответ нечто совершенно неожиданное, немыслимое, к чему ты не готов и после чего гнев тут же начинает мутить сознание, уходит здравомыслие, и словно бы приступает тошнота от этого непонимания.

Именно это отсутствие смысла или, напротив, наличие другого смысла, другой причины вызывает острую головную боль, желудочные спазмы, провоцирует судороги лицевого нерва.

В таких случаях всегда возникает желание извлечь из глубины сознания нечто абсолютно сокровенное, почитаемое за вину или за ошибку, не допуская при этом мысли о том, что причина того или иного превращения лежит на поверхности.

Как тогда с отцом, например.

Впоследствии Саша узнал, что у него просто возникли неприятности на работе, он очень сильно переживал, даже страдал бессонницей, а это для него было чем-то совершенно немыслимым, все скопом и сделало его другим, притом что внешне он оставался прежним, разве что осунулся и постарел.

Отец разочаровался в себе.

Сын увидел, как это — быть разочарованным в себе.

С этими мыслями Саша читал заданные на дом параграфы, не понимая, что в них написано, потому как буквы смешивались с цифрами, формулы с абзацами, а иллюстрации в учебнике требовали вольной трактовки. Тогда брал ручку и пририсовывал к одутловатому лицу Парацельса усы, двурогую бороду в виде туго свитых косиц, как у правителей Ашшура, а в уголках рта начерчивал загнутые к подбородку клыки.

«Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости». Обводил шариковой ручкой знаменитые слова бородатого алхимика, пытался сосредоточиться на них, вычитать смысл, уцепиться за них, но сути в их сочетании не находил, как и в сочетании цифр, а также букв латинского алфавита.

Саша знал за собой это качество — находясь в состоянии оцепенения, получать удовольствие от извлечения смыслов, скорее даже, придумывания их. Например, складывать из латинских букв слова, имеющие некое прикровенное, только ему ведомое значение. Или исследовать репродукции в учебнике истории с увеличительным стеклом, пытаться прочесть египетское иероглифическое письмо или хеттскую клинопись. Выписывал символы на полях тетради, бессознательно заштриховывал шариковой ручкой пробелы внутри литер или внутри химических формул, кои повторял, как заклинания, — бромид серебра, трихлорид метила, гидроксид бериллия.

Парацельс корчился и высовывал язык.

Нет, ничего Зимин не понимал из прочитанного. Спал наяву, окруженный этой абракадаброй, этими уродливыми сочленениями в виде шестигранников, сот, по которым ползали насекомые. Только и оставалось что подрисовывать им перепончатые крылья и штриховать фасеточные глаза.

Бывали, конечно, случаи, когда Татьяна Наумовна засыпала перед телевизором, а герои сериала с их монотонными, однообразными, от фильма к фильму повторяющимися монологами становились частью ее сновидений, галлюцинаций — они блуждали по кухне, задевали грязную посуду, сваленную в мойке. От этих прикосновений посуда падала, грохотала, скрежетала на дне раковины, и Татьяна Наумовна тут же выходила из своего забытья, оказываясь один на один с телевизионным экраном, от которого исходил бледный мерцающий свет.

И лицо ее выглядело бледным, мерцающим, осунувшимся.

Телевизор Татьяна Наумовна предпочитала смотреть в темноте, как в кинозале, потому, вероятно, и засыпала.

Впрочем, нет, просто очень сильно уставала на работе.

В Дом педкнижки на Кузнецком, в отдел учебно-методической литературы она пришла работать сразу после института. Сначала была здесь младшим продавцом, потом продавцом, а к тому времени, когда Саша пошел в школу, заняла должность товароведа. Домой приносила редкие книги, достать которые было невозможно, а у Зиминных они были, занимали отдельный шкаф, содержались в нем за стеклянными створками, потому как требовали к себе бережного отношения.

Отец знал наизусть, где стоит какая книга, и мог без промедления достать «Русскую живопись XVII века» или альбом «Босх — Брейгель. Северное возрождение», «Московскую изобразительную Пушкиниану» или двухтомник Роберта Музиля, альбом Рембрандта или путеводитель по Михайловскому Семёна Гейченко.

Метнув отраженный от окна свет на стену, створки открывались.

Так Царские врата открываются во время Великого входа, они словно изменяют пространство, делают его многомерным, непостижимым, когда за одной плоскостью оказывается значительная, неведомая доселе глубина, за стеной — комната, за дверью — другая дверь, коридор упирается в лестницу, а жертвенник — в сводчатый потолок.

В такие минуты невольно радуешься своему неведению того, что тебя ожидает там, о чем еще несколько мгновений назад и не помышлял вовсе, испытываешь особенное возбуждение от прихотливого изменения и пересечения плоскостей, ощущаешь при этом даже легкое головокружение, потому как пол, потолок и стены приходят в движение, теряются всяческие ориентиры, а чем ярче свет за окном, тем резче и пронзительней блики, которые мечутся по комнате или шкафу с книгами, по алтарю или по ограненным стеклам.

Потом отец доставал искомую книгу и передавал ее сыну.

Саша листал альбом репродукций Веласкеса.

Саша видел себя со стороны, как он листает альбом Веласкеса.

Апоплексические лица, отечности под глазами, мясистые подбородки, вспотевшие лбы, пухлые щеки, лилипуты, шуты, менины, старики, дети.

Отец тем временем извлекал из шкафа книгу «Франц Кафка. Роман. Новеллы. Притчи», открывал ее на триста четырнадцатой странице и читал: «Ибо мы как срубленные деревья зимой. Кажется, что они просто скатились на снег, слегка тронуть — и можно сдвинуть их с места. Нет, сдвинуть их нельзя — они крепко примерзли к земле. Но, поди ж ты, и это только кажется».

Воистину все кажется, все есть результат видения, игры воображения или, в особых случаях, болезненного состояния, когда картины получаются наиболее яркими, выпуклыми и уловить в них не составляет большого труда.

По сотам ползали пчелы.

Зимин прислушивался к звукам телевизора на кухне, вставал из-за стола и выходил в коридор, где рядом с обувной тумбой висел телефон.

Снимал трубку, плотно прижимал бакелитовую воронку к правому уху, а левое затыкал пальцем, отчетливо слышал дыхание, а потом и ее голос:

— Привет. Читаю «Божественную комедию» Данте. А ты что делаешь?

— Пририсовал Парацельсу усы и бороду, — придвигал трубку плотно к губам, и зубы впивались в язык.

— А зачем?

— Сам не знаю. — Саша морщился и сразу представлял себе одутловатое лицо алхимика, на котором шевелились черные густые волосы. — Кстати, слышал где-то, что борода и усы продолжают расти и после физической смерти их обладателя.

— Смешно.

— Приезжай на ВДНХа, — неожиданно выдыхал в трубку Зимин.

— Когда?

— Да хоть завтра после школы.

— Хорошо, договорились.

Возвращался в комнату и радовался тому, что успел позвонить и договориться о встрече никем не замеченный. Вернее сказать, все-таки был один человек, который наблюдал за ним, за тем, как он старается говорить как можно тише и оглядывается по сторонам. Этим человеком был он сам. И теперь в комнате они вместе сидели за столом, пытались запомнить написанное в учебнике по химии, но глаза слипались, клонило в сон, а голова падала в специально для того случая подставленные ладони.

* * *

Мать упала в метро на эскалаторе.

Разбила себе лицо и порвала пальто.

Ее сразу все бросились поднимать, посадили на мраморную скамью, вызвали врача, который тотчас же явился. Он промыл рану, забинтовал и попросил впредь быть внимательней в метро, потому что любое падение здесь чревато самыми печальными последствиями.

— Вот на прошлой неделе один гражданин упал на пути перед поездом, был, естественно, сбит насмерть. А все произошло потому что, в нарушение правил безопасности, он стоял на самом крае платформы, боясь, что не сможет войти в переполненный в час пик вагон, потерял всяческую бдительность. — Казалось, врач общается сам с собой, произнося ровно и неспешно раз и навсегда заученную фразу. — Вы дойдете до дома? Вас есть кому проводить?

Мать поднимала забинтованное лицо на молодую женщину, которая стояла рядом, переминалась с ноги на ногу и качалась из стороны в сторону при этом.

— Есть, — прозвучало в ответ.

Странно, конечно, получалось. Ведь она не считала эту молодую женщину своей дочерью, но когда оказывалась в беспомощном положении, могла положиться только на нее. Ненавидела себя за это в глубине души, презирала, называла это слабостью, унижением, малодушием, однако страх остаться совершенно одной оказывался сильнее.

Больше всего, впрочем, расстроилась, что порвала пальто, купленное по случаю в «Берёзке». Разбила лицо о стальную гребенку, это еще как-то можно понять, но вот как можно было порвать пальто, в которое непроизвольно завернулась, как в смиренную рубашку, совершенно не ясно. Может быть, это произошло, когда она пыталась высвободить руки, или когда ее волокли к скамье, а она билась, кричала при этом.

Тут-то пальто и затрещало по швам.

Рукава вывернулись наизнанку, а полы распахнулись, и кто-то из сопровождавших наступал на них. Делали это, разумеется, не специально, не со зла, а просто бестолково толкались, пытаясь в этой толчее увидеть лицо пострадавшей.

— Что? Как она там? Жива? — спрашивали друг друга.

— Жива-жива! — звучало в ответ.

Когда это произошло, дочь подумала — ее мать убились насмерть.

Это первое, что ей пришло в голову, она не испытала ни страха, ни сожаления, скорее — полнейшее разочарование, что именно об этом она подумала в такую минуту, помыслила совершенно инстинктивно, не успев задать себе вопрос — как она будет жить после матери, одна. Впрочем, все довольно быстро прояснилось, но мысль, что первой посетила ее, почему-то не уходила, блуждала, и от этого становилось не по себе. Тошно становилось и стыдно, ведь это было подсознательное намерение, которое приходилось постоянно скрывать, прятать не только от посторонних глаз, но от себя самой в первую очередь.

Говорила себе так, закрыв рукавицей лицо, чтобы никто не заметил, что она разговаривает сама с собой:

— Вот ты вернешься домой после похорон матери одна, и здесь все ее будет помнить, и ты ее будешь помнить, и невозможно будет поверить в то, что все эти годы, прожитые вместе, перечеркнуты и теперь все будет по-другому. Конечно, теперь ты сможешь вздохнуть с облегчением, что, мол, нет больше человека, который тебя мучил все это время, что теперь никто не укажет на твою короткую левую ногу и не скажет, что это нога демона, никто теперь не будет подглядывать за тобой в приоткрытую дверь в ванную, когда ты принимаешь душ. Но есть и другая сторона в этом вопросе — отныне твое болезненное состояние, выражающееся в том, что любовь есть извращение, а боль и страдание хоть и невыносимы, но желанны, не будет иметь своего приложения, не найдет применения. Просто теперь некого будет любить и ненавидеть одновременно. Итак, ты останешься один на один с собой, или со своим двойником, как бы сказала мать, и он будет преследовать тебя неотступно, постоянно, он не будет хромать, он, наконец, назовет твое настоящее имя — Евгения, что в переводе с древнегреческого означает «благородная», «потомок благородного и старинного рода».

Смешно, конечно, но только этим и придется утешаться.

Да, теперь ты будешь вольна принимать решения самостоятельно, даже сможешь встретить человека, с которым захочешь быть вместе, но любить его иначе, нежели собственную мать, ты не сможешь, потому что не умешь иначе, и теперь уже вряд ли научишься. Однако этот человек не будет твоей матерью, и он не захочет жить с тобой. Однажды он уйдет, и ты будешь кричать от бессильной злобы, проклинать его и даже попытаешься убить себя, приняв упаковку снотворного, но в последний момент испугаешься и вызовешь «скорую», потому что часть упаковки уже будет блуждать в твоём желудке. И что же получится в результате? Что жить невозможно и в первом, и во втором случае, что выбирать не из чего и что все должно продолжаться так, как заповедано, ведь ты уже давно привыкла к подобному бытованию, к его запахам, привычкам, электрическому свету в коридоре, бог знает еще к чему. Так вот, ты как всегда вернешься домой на трамвае, пройдешь к себе в комнату, закроешь за собой дверь, ляжешь на кровать, отвернувшись к стене, и так будешь лежать, поджав ноги к животу и повторяя про себя: «Нет-нет, ну, конечно же, нет!» В том смысле, что мать жива и здорова, что ты, разумеется, переволновалась за нее, но в этом смятении, в этой тревоге до слез ощутила свою привязанность к ней. Лицо твое будет морщиться от слез, но никто не будет этого видеть.

Женя смотрела внутрь рукавицы — там было темно.

Забинтованное лицо матери было похоже на заваленную снегом голову памятника

Валериану Куйбышеву, что на Преображенке. Только глаза и рот представляли собой естественные отверстия, через которые могли проникать звуки и дневной свет.

В таком виде мать бродила по квартире, натываясь на мебель и разбросанные в беспорядке вещи, среди которых, кстати сказать, попадалось и то самое разорванное на эскалаторе пальто, пыталась курить, неловко втыкая сигарету в одно из трех отверстий, впрочем, ей это не всегда удавалось, сигарета падала на пол, и мать топтала ее в бешенстве, кричала из норы, выложенной ватными тампонами, что все несчастья у нее в жизни происходят из-за одного хромого человека, живущего в ее квартире, а настоящая ее дочь где-то сейчас бродит одна, и ей, вполне возможно, угрожает опасность.

Бродит под снегом.

В темноте.

Ноги насквозь промокли.

Хлопья заваливаются за воротник, налипают бесформенными кусками на плечи, свисают клочьями, как косматые брови Валериана Куйбышева.

Рукавицы потеряла, и пальцы на руках посинели от холода.

Опасность такого снегопада, скорее всего, заключается в том, что если остановишься на одном месте хотя бы и на мгновение, то тут же будешь погребен под этим липким тяжелым месивом, поэтому надо безостановочно двигаться вперед. Однако каждый новый шаг дается все трудней и трудней, идти по сугробам делается все тяжелей и тяжелей, сил остается все меньше и меньше.

В конце концов мать изнемогала и затихала.

Наступала тишина, пользуясь которой Женя выходила на кухню и ставила вариться картошку «в мундире» на ужин.

С Андреем Звонарёвым из параллельной группы она познакомилась, когда всем курсом впервые поехали на картошку под Можайск.

Студентов из Москвы тогда разместили в двух бараках — мужском и женском, — соединенных шиферным навесом, где находились рукомойники, сушилка и дровяные сараи, здесь же стояли врытые в землю столы, за которыми собирались по вечерам после рабочего дня.

Узнав о том, что ее дочь едет на картошку, мать устроила страшный скандал, кричала, будто хорошо известно, чем там занимаются студенты и зачем они вообще туда едут, она даже собралась было идти к ректору, чтобы он запретил студентке-инвалиду работать в колхозе, но в последний момент у нее случился сильнейший приступ мигрени, который ее парализовал и лишил дара речи на сутки. Она могла только мычать и закатывать глаза, словно беседовала с кем-то неизвестным, наблюдая при этом нечто недоступное зрению обычного человека.

Всякий же раз после подобного рода припадков она признавалась дочери, что как бы находилась во власти некоей неведомой силы, одержимости что ли, противостоять которой не имела никакой возможности, но при этом самым странным образом получала «удовольствие от немыслимой, причиняемой неведомо кем физической боли».

Рот был забит острыми камнями, и они резали нёбо и десны.

Потом мать могла едва двигаться, еле говорила, еле ворочала распухшим языком, чувствовала себя совершенно измученной, разбитой, опустошенной и называла это состояние «полным безразличием, бесстрастием, нечувствием, окаменением».

Махала на прощание негнувшейся, словно окостеневшей рукой — «иди прочь».

Женя шла.

Женя уходила.

На картофельном поле стояли каменные идолы, вернее, это были бетонные надолбы, оставшиеся здесь со времен артиллерийского полигона, образованного тут еще до войны. После ухода военных в шестидесятых поля вспахали, но и до сих пор

из-под колес тракторов на поверхность выдавливались неразорвавшиеся снаряды и ржавые неподъемные гильзы величиной с ведро.

Как-то само собой получалось, по крайней мере, так Жене казалось, что Андрей всякий раз оказывался рядом с ней — в автобусе, когда ехали на работу, в столовой или в поле.

Его улыбка напоминала ей улыбку Саши.

Конечно, признавалась себе в том, что общалась с Золотарёвым как с подобием другого человека, хотя со временем привыкла к этому, смирилась с тем, что, скорее всего, никогда больше не встретит Зимина, что его черты, те, которые она запомнила, будет отныне находить в других людях, вздрагивать, цепенеть при этом и какое-то время думать, что перед ней его двойник.

Этому, наверное, она научилась у своей матери — не доверять первым впечатлениям, которые зачастую бывают единственно правильными, упорно предполагать, что они есть обман, выдумка или лукавое примышление, на которое способен демон Асмодей, который всегда рядом, который таится за деревьями, кричит голосами разных животных и птиц, раскачивает голые ветки, выпускает изо рта пар, извивается в сыром промозглом воздухе середины сентября.

После обеда зарядил дождь, а так как уже были в поле, то решили его переждать в перелеске, под сооруженным неизвестно кем и когда навесом из драных, накиданных, как старое тряпье, кусков рубероида.

Здесь же развели костер.

В горле у Жени запершило.

Просто наглоталась дыма, который стелился по земле, ел глаза, резко менял направление движения, и укрыться от него не было никакой возможности. Только и оставалось что повторять заученное еще в детстве: «Дым-дым, я некурящий! Дым-дым, я некурящий!»

Смешно вертела головой.

Нет, не спасало.

Спустя годы история повторится, когда они вместе с матерью в Сокольниках будут жечь яичную скорлупу и обертки от куличей после Пасхи.

Сначала они будут долго бродить по парку в поисках места всесожжения, потом найдут исполосованный поваленными деревьями овраг, здесь соберут хворост, мокрый по преимуществу, и попытаются его запалить. А он, что и понятно, сначала не будет гореть, начнет вонять, плевать едким дымом. Придется все начинать сызнова, снова и снова, раздувать, ползать по земле, и так несколько раз, пока наконец кущи не затрещат, не начнут корчиться, выдавливая из себя языки синеватого пламени, на съедение которому надо будет бросать остатки недавних пасхальных радостей.

Наконец огонь все поглотит, а мать и дочь станут со смехом отдергивать руки от пламени, указывать на искры, стреляющие в воздух, летающие и покусывающие.

— Осторожно-осторожно! Так можно и обжечься, а на пальцах вздуются волдыри с жидкостью мутно-желтого цвета.

Порывы ветра придавят рвущиеся языки к самой земле, разнесут яичную скорлупу, и суковатой обглоданной жуками-короедами палкой придется возвращать ее обратно в геенну огненную.

Звонарёв умело развел костер, дым при этом свирепствовал.

— Прячься за меня, — приказал Жене, и она спряталась. От дождя, кстати сказать, тоже спряталась, потому что драный рубероид не очень-то и спасал. Потoki воды с грохотом колотились о мерзлую глину, о стволы деревьев, срывали последние листья и гнали их по черной коре, по кривым вздыбленным корням, которые напоминали Жене узловатые, обезображенные артрозом пальцы ее матери.

Мать всегда выкручивала пальцы, причиняя себе нестерпимую боль, корчилась.

Вот и корни деревьев сейчас тоже корчились под проливным дождем.

— Не замерзла?

— Нет, Андрей, мне тепло.

Хотя, конечно, сказала неправду, потому что сырость пронизывала, да и костер совсем не грел, но ответила именно так, чтобы сделать ему приятное, ведь он старался, он заботился о ней.

— Сейчас будем картошку печь, — сказал Звонарёв и улыбнулся.

Зачем он это сделал?

«Зачем он улыбнулся?» — Женя повторяла этот вопрос снова и снова, закрывала глаза, чтобы не видеть перед собой Сашу, крутила себе пальцем у виска:

— Вот дурища!

— Сама такая!

Совсем сбрендил на яву.

Как тогда, на берегу Путяевских прудов, когда под общий хохот одноклассников откусывала хрустящую пережаренную корку пирожка-трупа, по возможности оттягивая встречу с его содержимым, но знала наверняка, что встреча эта неизбежно наступит, состоится, и распаренные комки мяса застрянут у нее в зубах.

Звонарёв тем временем засыпал картошку в ведро, разворошил костер и, перевернув ведро, воткнул его в самый центр геенны огненной.

Присыпал углями.

Наклонился к Жене:

— Расскажи, о чем ты сейчас думаешь?

— О том, что эта картина мне напоминает шестой круг ада у Данте, когда картофелины лежат в раскаленной до красна могиле, внутри и вне которой горит огонь. Нет, совершенно невозможно прикоснуться к стенам этой гробницы, потому что пылающие поленья и огромные, величиной с булыжник угли стоят на пути у всякого прикосновения, а водяные брызги тут испаряются на лету.

Звонарёв брал лопату и стучал ею по ведру, двигал его по раскаленной площадке, вновь подсыпал угли:

— Надо шевелить, чтобы хорошо пропеклись, — и, помолчав, добавлял: — Картофелины — это и есть грешники? Так, по-твоему, получается?

— Нет, просто пришлось к слову. Хотя некоторые, конечно, особенно те, что кривые, двурогие или трехгорбые, облепленные землей, с глазками и синюшными вмятинами, можно сравнить со страждущими, с калеками, с недужными, страдающими психическими и иными заболеваниями. Другое дело, что они ни в чем не виноваты, но сейчас речь идет о другом, о том, что картофелины уже ввержены в пылающую бездну в виде оцинкованного ведра, из которого нет выхода, потому что оно расположено дном вверх.

Пустые ведра разбросаны по полю.

Совсем недавно во время уборки картофеля здесь была найдена огромная стреляная гильза. Местные рассказывали, что в этом перелеске стояла батарея гаубиц, при стрельбе из которых в поселке вылетали стекла, а раскаты потом еще долго странствовали по оврагам, вдоль гравийной дороги, блуждали над шиферными крышами барачных и казарм.

Грохотало гулко, раздваивалось, троилось, в конце концов становилось эхом, словно из металлической цистерны берущимся, и всякий раз казалось, что с минуты на минуту хлынет дождь, хотя небо было чистым, высоким, и ничто не предвещало потопа.

Конечно, Женя помнила, как в детстве заглядывали в такую цистерну, стоявшую за гаражами, дудели в нее, неестественно надувая щеки, и тут же отбегали, чтобы не быть поверженными клубящимся, как иссиня-черный дым от горящих покрышек, эхом.

Оно вырывалось наружу и грохотало.

Так и залпы грохотали.

Казенные части гаубиц дергались, как припадочные, елозили по земле, а стволы

выплевывали из себя снаряды, что со свистом уходили в низкую облачность, протыкали ее и кучно ложились в пяти километрах от расположения батареи рядом с поселком Холм.

— Есть попадание! — орал корректировщик огня, когда выкрашенные красной краской мишени взлетали на воздух, поднимая с собой кучу камней, разорванные комья земли и пороховой дым.

Наблюдение за стрельбой велось с колокольни бывшей Успенской церкви, после ухода военных перестроенной в поселковый клуб. Саму же колокольню снесли за ненадобностью.

— Хочешь посмотреть? — Звонарёв протянул Жене бинокль.

— Что это?

— Дедов морской бинокль. Держи!

Взяла и увидела за пеленой дождя на линии огня главного калибра стоявшего на рейде в Евпаторийском порту линкора «Севастополь» кромку леса, вдоль которой шли люди в плащ-палатках и подбирали разбросанные по полю ведра.

«Откуда могла знать про Евпаторийский рейд, про главный калибр?» — задала себе вопрос и тут же предположила ответ на него: «Скорее всего, из рассказов матери о своем детстве». А ведь всегда слушала эти рассказы невнимательно, находила их скучными и однообразными, заставляла себя это делать, реагировала разве что на неожиданные в лексиконе матери слова — линкор, дредноут, броненосный крейсер, оверкиль, бинокль.

Женя перевела бинокль на костер, изображение тут же заметалось и расплылось

— У меня дед на флоте служил, — Андрей опрокинул лопатой ведро и вывалил на землю дымящиеся клубни. Некоторые из них сварились, а некоторые запеклись, полопались и выпустили наружу распаренную мякоть. — Я бинокль всегда с собой беру. Некоторые фотоаппарат берут, а я — бинокль, чтобы запечатлеть изображение, которого на самом деле нет. То есть, оно есть, конечно, но увидеть его может не всякий.

Взял у Жени бинокль и поднес к глазам.

Люди в плащ-палатках складывали ведра в прицеп трактора, который медленно двигался вдоль раскисшей и потому потерявшей всякую форму разрытой лопатами гряды.

Потом люди останавливались, закуривали, и трактор тоже останавливался. Из кабины выглядывал мужик и, выстроив на лбу козырек из ладоней, смотрел на Звонарёва. Он, разумеется, не знал, что смотрит на Звонарёва и на студентов, укрывшихся от дождя под навесом, скорее всего, его заинтересовал дым от костра, что, криво извиваясь, стелился над перелеском. Вероятно, думал в ту минуту о том, что сейчас у огня можно просушить насквозь вымокший ватник, поест печеную картошку, выпить пива, неторопливо побеседовать, покурить или даже поспать, подложив под голову сложенный вчетверо пустой мешок.

Потом он вновь забирался в кабину, что-то кричал людям в плащ-палатках и захлопывал за собой дверь.

Все это происходило на едва различимом в дождевом тумане горизонте, но в то же время и совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Скорее всего, это была иллюзия невероятного присутствия, зыбкого, подобного сновидению, совершенно необъяснимого с точки зрения здравого смысла, но при этом абсолютно реального.

Женя запихнула в рот картофельную мякоть и подумала о том, что если бы сейчас мать увидела, чем она занимается, как перепачканными в пепле руками вытирает губы, смеется при этом, выказывая тем самым свое полное счастье, как выплевывает на землю обгорелую корку, напоминающую панцирь жухелицы, облизывается, то, наверное, просто сошла бы с ума.

И в голове у нее прозвучали бы такие слова: «Опять не могу вспомнить стихотворение Николая Степановича Гумилёва про крылатого змея в пустынном саду.

Всю ночь не спала, потому что перебирала в памяти слова, из которых можно было бы составить описание нападения на меня началозлобного демона, что произошло в Сокольниках. Он гнался за мной, настигал, валил на землю, выпускал дух. Нет, не так! По-другому: он преследовал меня, я отвечала ему скрытыми полуулыбками, я ускоряла шаг, он переходил на бег, затем он догонял меня, хватал за воротник, и я падала на землю, он облизывался, а на голове у него вместо волос был панцирь какого-то насекомого. Демона звали Асмодеем, если не ошибаюсь. У Николая Степановича Гумилёва описано, как змей похитил девушку, взмыл с ней в небеса и унес ее в вечную бессонницу... После того как Женя уехала на картошку, я не спала ни минуты ни днем, ни ночью. Сначала я не хотела спать, а потом хотела, но не могла уснуть, потому что слова роились у меня в голове и не было никаких сил их исторгнуть из себя. Мне оставалось только мычать. Мычала о том, что моя хромая дочь, вне всякого сомнения, не является моей настоящей дочерью, потому что настоящую дочь подменили в роддоме. Вот сама посудите, это я обращаюсь сама к себе, может ли твоя родная дочь, уподобившись скоту, есть с земли картофель, стоять на четвереньках перед кострищем, словно бы поклоняясь богу огня. Нет, не может! Потому что твоя родная дочь носит имя Евгения, что в переводе с древнегреческого означает "благородная"».

Женя обожгла нёбо картошкой и замычала от боли.

Потом долго брели через поле, с трудом вытаскивая ноги из земляной жижи, говорили о том, что надо бы посетить клуб в бывшей Успенской церкви, где под потолком, по рассказам, еще сохранились старинные росписи.

Дождь почти перестал к тому времени.

От земли поднимался пар, пахло гнилью и сырой мешковиной.

Наконец выбрались на дорогу, где уже стоял автобус.

Женя садилась последней.

Вернее, с трудом заползала по ступенькам, переваливалась с боку на бок, повисала на скользких хромированных поручнях, задерживая тем самым отправление. Задерживала дыхание.

Трогала языком губы, щурилась, и могло показаться, что она кривляется, но это было не так, просто она глотала застрявший в горле ком слез.

Андрей помогал ей, облепленные глиной резиновые сапоги скользили по металлической приступке, а одnogруппница по фамилии Солдатова уступила Жене место рядом с обернутым дерматиновым тюфяком двигателем.

Потом двери зашипели, как фокусирующиеся меха старинного фотографического аппарата, словно бы выпуская из себя горячий воздух и запах топлива, на какое-то мгновение замерли и со скрежетом хлопнулись.

Автобус дернулся и покатился по разбитой тракторами дороге, а Звонарёв тут же уперся лбом в запотевшее окно, по ходу движения елозя по стеклу мокрыми волосами, щурился от боязни окосеть, потому что правый и левый глаза его смотрели в разные стороны одновременно — на Женю и на хромированный поручень, в котором отражался переполненный студентами салон автобуса, словно это был забитый народом во время Пасхи притвор с картинами Страшного суда на потолке.

Андрей попытался задрать голову, чтобы рассмотреть эти чудом сохранившиеся изображения, но ничего, кроме люка, поручней и пластмассовых плафонов не обнаружил.

Вязаная шапка сползла на затылок.

В автобусе всегда так — душно, укачивает, разные предметы катаются по полу, грохочут, их приходится отпихивать ногами.

Вытер лоб рукавом.

На подъезде к поселку обогнали бредущих по обочине дороги людей в плащ-палатках, правда теперь они уже скинули свои капюшоны, и можно было подумать,

будто это шествие нищенствующих францисканцев, что сторонились, кланялись, провожая автобус взглядами, некоторые махали руками, но потом беспомощно опускали их или складывали на груди, словно оплакивали кого-то или жалели о чем-то.

Пьета — в переводе с итальянского означает «жалость».

Печаль.

Сострадание.

Милосердие.

Сочувствие.

Но есть еще и зависть, гнев, жестокосердие, ненависть, надменность.

Единственное, что удалось тогда разглядеть на потолке сельского клуба в бывшей Успенской церкви, где все-таки оказались перед самым отъездом в Москву, так это извивающегося в виде огненной реки змея, который олицетворял грех.

По берегам пылающего потока были изображены грешники. Их было очень много, и стояли они так плотно друг к другу, что все это напоминало непроходимый лес — черный, дремучий, закопченный лампадами и свечами, неподвижный, не пропускающий солнечного света и потому вечно сырой, курящийся мошкаркой и болотными испарениями.

Женя и Звонарёв ходили по пустому залу, где на месте алтаря была сцена, над которой висело приветствие участникам смотра районной самодеятельности.

А сторож, пустивший в клуб, рассказал, что роспись потолка долго не трогали, но однажды все-таки предприняли попытку ее замазать, однако все закончилось плохо — забравшийся на лестницу электрик по фамилии Демидов сорвался вниз и убили насмерть, ударившись головой о металлические поручни зрительских кресел.

— Вот так и лежал здесь, весь залитый краской. — Сторож выдвинул подбородок вперед, указывая на место падения Демидова. — Оступился, видимо, как-то неловко повернулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за лестницу, но не смог этого сделать и упал вниз. Сейчас тут уже другие кресла стоят, а те, старые, выбросили, утопили их в пруду, что рядом с клубом. Я говорил — зачем их топить, ведь могут еще пригодиться в хозяйстве... нет, не послушали — утопили, как будто это они виноваты в том, что об них Демидов убили. Думаю, он тогда выпивши был, у него в то время как раз единственный сын погиб в Афгане, он постоянно пьяным ходил, один раз его чуть током не убило, когда проводку в школе чинил, оголенные концы перепутал. Чудом в живых остался, а тут, думаю, что-то с ним произошло, может быть, голова закружилась, а может, просто забыл, что стоит на стремянке и шагнул мимо.

Женя тут же вспомнила свою мать, которой только и оставалось в метро на эскалаторе что неестественно вывернуть к левому плечу подбородок и сделать шаг вниз.

Левая нога короче правой.

Давно привыкла к своей хромоте.

Да и на курсе все тоже привыкли, просто не замечали.

Потом сторож показал забытые облупившейся фанерой стрельчатые окна, остатки деревянной резьбы по карнизу и чугунную печь под потолком, давно нетопленную и проржавевшую. Из приоткрытой топки тянуло сквозняком с чердака.

Всякий раз, когда в Москве Женя ходила на службу в храм, всегда садилась рядом с батареей за свечным ящиком, потому что мерзла. Особенно ей невыносимо было слушать чтение о событиях Великой пятницы. Ее словно бил озноб от слов — *Или, Или! Лама савахфани!* — как от ударов молотка по кривому кованому гвоздю, которым левую ногу прибавляли к правой.

Гвоздь с треском входил в древесину и застревал в ней, а выдернуть его оттуда можно было только клещами, изрядно потрудившись при этом, уперевшись коленом в перекладину, например, закусив измятую молотком шляпку, расковыряв запястья и ноги приговоренного к смерти на кресте.

Трогала предполагаемое место прободения, даже ковыряла его ногтем — нет,

ничего не чувствовала, прятала подбородок в коленях и заглядывала под свечной ящик.

Когда вышли на улицу, указав на пруд, сторож сказал:

— Вот здесь эти кресла и утопили.

Помолчал и добавил:

— Я к нему каждый год на могилу хожу. Хороший был мужик. Мы однажды с ним на Гидроузел рыбачить ездили. Там, не доезжая плотины, есть одно место, где хорошо щука берет. Это место я давно знаю, еще с детства. Но в ту нашу поездку с Демидовым мы так ничего и не поймали почему-то. — Сторож поднял с земли камень и что есть силы зашвырнул его в пруд. — Его, кстати, Павлом звали.

Ровно с таким же звуком, с каким кривой кованый гвоздь в конце концов извлекается из деревянной перекладины, камень вошел в толщу воды, завертелся вокруг собственной оси, пошел на глубину и, достигнув ее, ударился о металлический поручень покрытого илом кресла.

Все время, пока они ходили по клубу, слушали разговоры сторожа, Андрей смотрел на Женю и думал, кого же она ему напоминает. Пред глазами возникали люди, большая часть которых оказывалась вымышленными персонажами, никогда реально не существовавшими, но при этом весьма громогласными и совершенно объемными; в памяти всплывали давно забытые лица, которые каким-то непостижимым образом соединялись в одном человеке, создавая тем самым едва уловимый постоянно меняющийся образ, обладающий многими голосами, разным цветом глаз и даже конечностями разной длины.

Когда впервые увидел Женю на лекции на первом курсе в поточной аудитории, почему-то сразу представил себе свою старшую сестру Елизавету.

Вот Лиза пронизательно смотрит на младшего брата.

Кусает губы.

Устало, как заклинание, повторяет одну и ту же фразу:

— Не грызи ногти и не сутулься.

И опять кусает губы.

Но уже после зимней сессии, когда они гуляли в снегопад по Сокольникам, Андрей вдруг увидел перед собой совершенно ему незнакомую хромую девочку в кацавейке, перелицованной из старой шубы, она рассказывала что-то о своей матери, об их непростых взаимоотношениях, о том, что мать уверена, что она — Евгения — не является ее настоящей дочерью, что ее подменили в роддоме, и поэтому мать постоянно болеет, не имея сил и здоровья пережить это, и несколько раз даже пыталась покончить с собой.

Кто делился сейчас с ним подробностями своей жизни, признавался в своих страхах, говорил о том, о чем страшно подумать, не то что говорить постороннему человеку? Кто вещал низким, почти мужским голосом, неотрывно глядя при этом перед собой в одну точку, трогая рот ладонью? Ответил себе так:

— Тогда, в свете уличных фонарей, Женя мне вдруг напомнила Варю из «Белых ночей», с ее постоянным дурным самочувствием, вызывающим у окружающих раздражение, с ее неврастенией, судорогами, невыносимыми, в смысле глупыми мечтаниями, постоянным кашлем и болезненным ожиданием смерти, а еще с неизбывным страхом того, что ее никому не жалко, что никто ей не сострадает, не сочувствует, не печалует и не милосердствует, видя ее убожество.

Так вот, оказывается, кто перед ним был — Варвара Алексеевна Доброселова!

Андрей улыбнулся.

— Я смешная? Да?

— Нет, просто подумал, что сейчас ты мне напомнила одного человека.

— Хорошего?

— Не знаю, я не был знаком с ним лично, только читал о нем у Достоевского. Нет, не любила Фёдора Михайловича за его гневливость, жестокосердие и

надменность. Чувствовала, что он был именно таким, потому что иной, обратной стороны у его психического заболевания быть не могло. Ведь страдания, приносимые припадками, как известно, только ожесточают сердце, делают равнодушным к терзаниям других, потому как муки последних видятся ничтожными, даже смешными перед собственной болью. Не могла себе представить, чтобы после того как писателя поднимали с пола и укладывали на кровать — стонущего, изрыгающего проклятия, пускающего изо рта густую белую пену, обмочившегося, — он сможет испытать к кому-либо жалость, просветление или улыбаться беспечно, не чувствуя при этом, что его улыбка есть всего лишь безобразная гримаса на побелевшем от приступа лице.

Гуляли по Сокольникам долго.

Женя даже не почувствовала, как у нее насквозь промокли ноги, а хлопья снега заваливаются за воротник, налипают космами на плечи и обваливаются клочьями. Она не могла пошевелить руками, рукавицы куда-то делись, и пальцы посинели от холода.

А вот на картошке после первого курса Андрей увидел ее уже совсем другой.

Даже не удивился этому, более того, даже ждал этого, потому как литературные параллели довольно быстро надоели, приелись, казались какими-то казенными, виденными-перевиденными и зачитанными до дыр.

Теперь предпочитал смотреть на ее профиль, причем с разных сторон, потому что он оказывался разным — несовпадение линий подбородка, носа, губ. Она могла быть красивой и безобразной, смеющейся и плачущей одновременно, могла напоминать ему мать, сестру Елизавету и в то же время святого Себастьяна кисти Джованни Болтрафио из Пушкинского музея, куда по субботам он ходил заниматься в старших классах школы.

Себастьян, похожий на женщину.

Женя, похожая на римского legionera, проткнутого стрелами.

Закатывала глаза.

Чувствовала, что он смотрит на нее.

Тормоза издали протяжный свист.

Качнувшись на рессорах, автобус остановился на круговой площадке перед поселковой столовой и заскрежетал раскладными дверями, выдохнув густым вперемешку с масляным прогаром духом печки, установленной рядом с местом водителя.

Приехали, стало быть.

По возвращении в Москву решила матери ничего не говорить про Андрея. Сначала делать это было непросто, потому что еще с детства Женя знала, что обо всем она должна была рассказывать ей, а нерассказ о чем-либо, сокрытие чего-либо сокровенного приравнивалось ко лжи. Однако со временем хранение тайны, сравнимое с балансированием на грани опасности, скандала, истерики стало доставлять запретное удовольствие. Женя видела, что мать чувствует, что с ней что-то происходит, но дальше недоуменных взглядов дело не шло, потому что никаких поводов к саморазоблачению матери не давала.

Мыслится, что коварство есть извлечение из себя черт, которые до времени таятся под спудом, при полной уверенности, что их, этих черт, не существует вовсе. Впадение в соблазн возможно от многих сомнений: от смертельной усталости возможно, от унижения и сладострастия, когда искушение столь велико и столь желанно, что любое, пусть даже самое ничтожное попустительство собственным слабостям, страстям ли оказывается роковым. Конечно, поначалу заповеданному и запечатанному сопротивляешься, но постепенно рвение ослабевает и наступает желанное изнеможение.

Истома.

Итак, печать запрета сорвана.

Какое-то время невыносимое пьянит, но со временем головокружение становится вполне естественным состоянием, и даже естественным до такой степени, что уже невозможно себе представить, как без этого можно было жить раньше.

Блуждающая улыбка на лице.

Плавные движения рук.

Узнавание себя в зеркале.

Осознание того, что ты кому-то нужна.

После института они ехали к Андрею на Павелецкую. Он жил в коммуналке в одноэтажном деревянном доме на Щипке напротив бывшей богадельни Солодовниковых. Это была комната его сестры, но после того как та вышла замуж и уехала в Новосибирск, забрав с собой мать, Звонарёв остался здесь один — в огромной полутемной комнате, заставленной шкафами.

Домой возвращалась поздно и говорила, что сидела в читальном зале в библиотеке.

Но потом все, конечно, открылось, просто мать совершенно неожиданно встретила их в метро на Курской кольцевой. Тогда она ничего не сказала, повернулась и пошла, не оглядываясь, почти побежала, но, придя домой, попыталась покончить с собой, открыв на кухне газ.

* * *

На День мертвых зажигали масляные лампы и поднимали шахтеров на поверхность. Их извлекали из ящиков, в которых они содержались глубоко под землей в шурфах, очищали от глины и песка и украшали цветами.

Так как долгое время они хранились в безвоздушном пространстве, то совершенно не походили на мертвецов, разве что цвет лица имели восковой.

Вдовы шахтеров, приходившие поклониться своим мужьям, приносили с собой иссиня-черный сок плодов генипы и закрашивали им все восковые впадины и пустоты, оставляя лишь веки, брови и зубы, многие из которых к тому моменту уже выкрошились.

Затем процессия перемещалась на главную площадь шахтерского городка, где перед церковью Святого Сердца из ящиков, в которых хранились мумии, складывали огромный костер.

Саша сидел на кухне перед телевизором и не мог оторваться от происходящего.

Ящики обкладывали соломой и поджигали.

Корреспондент указывал на разряженных мертвецов, на пламя, которое в считанные секунды вихрем обволакивало всю площадь и поднималось на уровень шпиля церковной колокольни, объяснял, что это древний ритуал, восходящий еще к эпохе цивилизации майя, и что он означает очищение огнем, рождение из него новой жизни.

Тем временем мумиям, прислоненным к специально врытым в землю деревянным рамам, в открытые рты вставляли свитки, на которых была начертана отходная молитва «Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen».

Мертвецы при этом стояли по стойке «смирно», задрав подбородки, и могло показаться, что они изготовились возопить змием.

От высокой температуры черная краска стекала по их лицам, а белая штукатурка трескалась, вскрывая кирпичные стены церкви Святого Сердца.

Когда ящики догорали, мертвых шахтеров перекладывали в новые ящики, устанавливали на дроги, перевитые оранжевыми лентами, и везли обратно к штольням, из которых их извлекли для совершения печального ритуала. И здесь, уже в темноте, при свете масляных ламп, мертвецов вертикально погружали в безвоздушную глубину, засыпали камнями, землей, бросали на ящики, уходившие под землю, цветы и ленты.

Зимин выключил телевизор.

Накануне майских праздников ящики, в которых на зиму укрывали скульптуры на ВДНХ, убирали.

Приезжал трактор с прицепом, куда сваливали покосившиеся остовы и отсыревшие доски.

Рабочие освобождали вызолоченных дев, наряженных в сарафаны и картули, войлочные шапки и халаты, кушаки и хитоны, поливали изваяния из шлангов, шурились на ярком солнце, потому что брызги слепили, разлетаясь в разные стороны при ударе о гранитное ограждение фонтана, медные украшения и гипсовую лепнину.

Саша неотрывно смотрел в оловянные, подведенные сурьмой глаза статуй, в которых отражалось солнце, вернее, его угасание, его исчезновение за куполом павильона «Космос», и глаза статуй постепенно меркли вслед за растворением лучей в Яузе, а отблески светила еще долго потом плыли вдоль берегов, проходили поверх прошлогодней, изуродованной ледоходом травы, достигали и дна на мелководье.

Всякий раз, оказываясь здесь, думал о той несостоявшейся встрече с хромоножкой. Ждал ее тогда рядом с боковой дверью северного портала, а она все не шла. Злился на нее, конечно, не понимал, что происходит, ведь они же договорились, она обещала, что придет. И это уже потом выяснилось, что ее не пустила мать, встретив у лифта.

Когда рассказывала об этом Саше, то виновато улыбалась, и было в этой улыбке что-то неприятно-отталкивающее, наводящее на мысль о том, что она в чем-то соглашалась со своей матерью, даже была ей благодарна. Ну хотя бы за то, что как бы она, например, брела по заснеженной ВДНХ в темноте, подвергая себя нешуточной опасности. Тем более что тогда ходили слухи о том, будто в районе Метрогородка объявился уголовник, страдающий открытой формой туберкулеза. Он нападал на своих жертв в маске какого-нибудь животного и, прежде чем убить, дышал в лицо горячим смрадным воздухом, надеясь таким образом изгнать из себя болезнь, передавая ее приговоренному к смерти.

Им же и приговоренного.

Об этом было страшно подумать, и подобный материнский запрет, соответственно, выглядел спасительным, вселявшим уверенность в то, что таким образом можно избежать многих неприятностей и даже трагедий.

Смотрела на Сашу, когда говорила и думала обо всем этом, и видела, как его лицо становится чужим и безразличным. Конечно, была уверена, что так проявляется его озлобленность, его недоверие к ней и ошибалась, потому что это было ни что иное как выражение сердечной пустоты.

Именно не умственной, но сердечной пустоты, апатии, и никаких сильных эмоций в этом оцепенении не было.

Вот если бы можно было в такую минуту, сняв с лица сделанную из пластмассы маску зайца, вдохнуть в Сашу любовь к себе, не говоря при этом никаких слов, потому что слова ничего не значат. Точнее сказать, многообразие смыслов позволяет одно и то же трактовать по своему усмотрению, видеть в правде ложь, а в ненависти нежность.

Но знала, что нет у нее такого дара — источать дух, даже когда открываешь рот и что есть мочи орешь в подушку от бессильной злобы. Вырывалось только горячее дыхание, после которого щеки и скулы покрывались испариной, да запах еды.

А потом, понимая, что сходит с ума, отправилась на ВДНХ одна, не сказав об этом никому.

Приехала на выставку уже в темноте, незадолго до закрытия.

Пока шла в сторону купола павильона «Космос», который, как ей казалось, парил над местностью, оторвавшись от снопов колосьев, нагромождений перезрелых, терпко пахнущих гнилью овощей и фруктов, цементных колонн в виде стволов деревьев, испытывала чувство страха и одновременно невротическое, радостное возбуждение.

Оглядывалась по сторонам.

Она давно привыкла к тому, что из-за ее хромоты всякая местность имела возможность раскачиваться, то поднимаясь, то опускаясь, то играя бликами закатного солнца где-то за Яузой, то прячась в черной неподвижной воде.

В перевернутом виде, разумеется, все происходило.

И она, стало быть, шла вниз головой, вверх ногами.

Воображала себе, что именно таким же образом и пробиралась бы здесь в тот день, когда ее у боковой двери северного портала павильона «Космос» ждал Саша. Как и договаривались.

А теперь ее никто не ждал, но ей было важно пережить это состояние, чтобы понять его ценность, смысл или, напротив, бессмысленность и его полную ненужность.

Брела среди заваленных снегом скамеек, мимо фонтана «Дружба народов», шестнадцать женских статуй которого были скрыты в деревянных ящиках, мимо пустых павильонов и беседок, разговаривала сама с собой, отвечая и за себя, и за Сашу Зимина одновременно. Однако, сама того не желая, полностью повторяла собственную мать, которая, общаясь с ней, не слушала ее ответов, но отвечала сама себе так, как считала нужным и правильным, потому что была абсолютно уверена, что именно такой ответ должен был прозвучать, и он звучал.

Нет, нет, не слышно голоса Зимина.

Он отсутствует, затерялся в потоке слов, ему же и адресованных.

— Вот сам посуди, Саша, сможешь ли ты противостоять началозлобному демону в облике бездомной, больной бешенством собаки или в облики уголовника с головой зайца? Не сможешь меня защитить! И вовсе не потому что испугаешься, я знаю, что ты смелый, хоть и не умеешь драться, ты мне сам об этом говорил, а потому что противостоять ему нельзя в принципе. Он сильнее априори, он видит тебя насквозь и набрасывается именно тогда, когда ты его не ждешь. Ну согласишься, ведь нельзя же постоянно быть начеку и ждать нападения. Это невозможно. Это просто невыносимо. От этого можно свихнуться. Стало быть, следует избегать встречи с ним, соблюдать укрытие, доверять интуиции и знакам, которые окружают нас. Саша, милый мой, вот посмотри по сторонам. Приглядишься, и ты увидишь их...

Останавливалась, чтобы отдышаться, и смотрела по сторонам.

Статуи окружали ее.

Одни из них держали в руках задохнувшихся рыб с выпученными глазами, другие — колосья и ветви, в зарослях которых еще совсем недавно эти рыбы могли блуждать, заходя на мелководье. Однако по нерасторопности или впад в сонное оцепенение, тут же и попадали в расставленные рыбаками сети, бились в иступлении, но уже было поздно. Их вытаскивали на сушу, и они начинали задыхаться, таращили глаза, шевелили жабрами, но вскоре коченели и застывали в корчах.

Река есть знак уходящего времени.

Рыба — по-гречески *ихтис* — монограмма имени Иисуса Христа.

Змеи, ползающие по дну, обозначают пресмыкающихся демонов.

Заросли вербы символизируют кущи пальмовых ветвей.

Скульптурные изображения колхозниц и механизаторов представляют собой истуканов, которым поклоняются жрецы в спецовках и ватниках.

Дворники бросали снег лопатами, переругивались, с удивлением смотрели на проходящую мимо них хромую девочку и не понимали, что она здесь делает об эту пору.

Продолжала общаться сама с собой, заговаривая страх, уверяя себя таким образом, что она здесь не одна:

— Вот смотри, Саша, дворники убирают снег, и если туберкулезник, о котором мне говорила мать, вдруг нападет на меня, выпрыгнет из кустов или бросится из-за угла закрытого на зиму павильона, то они отгонят его лопатами и защитят, потому что их много, человек пять, если не ошибаюсь. А я специально по такому случаю заматаю лицо шарфом, чтобы дыхание Асмодея не коснулось меня. Думаю, что он упадет под ударами дворников, закашляется, а они его свяжут и посадят на цепь в будку с металлической дверью.

Итак, остановилась у боковой двери северного портала.

— Получается, дорогой мой, что и тебе, и мне удалось тогда избежать унижения,

ведь уборщиков снега не было и в помине, а вдвоем мы бы не справились с уголовником. Саша, почему ты молчишь?

Фраза крутится в голове, повторяется — а ведь это и есть выражение сердечной пустоты, именно не умственной, но сердечной пустоты, явление апатии, полного отсутствия сильных эмоций и даже какого-то одеревенения; умственная пустота, напротив, не предполагает молчания, она многословна, а отсутствие мысли здесь скрывается за потоком речений и бесконечных свитков.

После окончания поливки статуй рабочие приступили к заполнению фонтана водой.

Для этого один из них — коренастый, в надвинутой на самые глаза лыжной шапке азиат со шрамом на подбородке — залез в канализационный люк и выпустил из него на поверхность пожарный рукав, который по мере прохождения по нему воды начал оживать, то есть надуваться и шевелиться подобно полозу.

Саша увидел металлический брандспойт в форме наконечника копья, и сразу подумал о том, что, вероятно, сейчас азиат, выбравшись из люка, возьмет его и, едва справляясь с мечущимся за спиной рукавом, начнет наступление на золотые, сияющие на солнце изваяния, оказываясь при этом в воде по щиколотку, по пояс, по шею, а затем и вообще скроется из виду.

На самом же деле все происходило совсем по-другому, более прозаично.

Рабочий забросил шланг в фонтан и открыл вентиль, вода рывками стала заполнять чашу.

Зимин разочарованно повел плечами — «совсем неинтересно», и почему-то вспомнил, как на майские праздники по традиции ходили в гости к деду, который жил на Матросской Тишине.

Родственников в эти дни он всегда встречал при параде, привинчивал к фланелевой рубашке орден Красной Звезды, пристегивал медаль «За отвагу», приглашал к столу, во главе которого и садился.

Войну дед прошел в артиллерии, служил разведчиком-корректировщиком огня, был контужен и два года оставался глухим.

Он и потом, когда слушал, прикладывал по привычке к правому уху ладонь в виде рожка, наклонял голову вперед, говорил громко, хотя, по уверению врачей, слух у него восстановился полностью, и все это было не чем иным, как фантомными страхами.

Орден Красной Звезды получил в сорок четвертом году за ведение корректировки огня батареи с колокольни кирхи Святого Сердца близ населенного пункта Молодечно.

Говорил, что выдвинулся тогда на позицию безо всякой надежды вернуться обратно, потому как формально эта местность еще была оккупированной и контролировалась разрозненными подразделениями вермахта, хотя основные силы неприятеля уже ушли на запад.

В установленное время оказался на исходной.

По узкому, пахнувшему каменной сыростью лазу поднялся на колокольню. Почему-то хорошо запомнил именно эту подвальную сырость, хотя ведь не спускался под землю, а поднимался вверх, к небу, которое лежало на голове.

— Просто низкая облачность, — дед разводил руками, — сектора обстрела было почти не разглядеть, но выручил ветер, и к рассвету все развиднелось.

Саша в который раз слушал этот рассказ, кажется, уже знал его наизусть, но снова и снова воображение рисовало новые, несколько не похожие друг на друга картины, насыщало повествование новыми эпизодами и наполняло новыми неведомыми звуками, для которых приходилось придумывать названия.

Вообще-то раньше Саша уже занимался подобными вещами, другое дело, что всякий раз забывал сочиненные названия, порой весьма и весьма оригинальные, и приходилось их придумывать заново.

Колол орехи плоскогубцами, разламывал скорлупу, словно переключал металлические тумблеры.

Высовывал в окно автобуса стеклянную банку и слушал, как она гудит на встречном ветру, словно вентилятор печки.

Скреб ногтями по дерматину сидения, как будто пытался воспроизвести скрежет тормозов.

Напрягал слух и даже закрывал закрытые глаза ладонями, чтобы понять, что означают бьющиеся о стекло автобуса желуди, которые горстями разбрасывает столетний дуб, нависший над дорогой и вздыбивший асфальт своими звероподобными корнями.

Словно град по жестяному карнизу.

Словно прободение грозовой каменной тучи.

Словно длинная очередь из крупнокалиберного пулемета, выпущенная по колокольне кирхи Святого Сердца, и тут же пришедшие ей на смену гулкие раскаты артиллерийских залпов.

Горизонт заволочло дымом.

— Есть попадание, — улыбался дед и наблюдал в полевой бинокль, как в воздух взлетают разорванные комья земли, кучи камней, пороховая гарь, обломки каких-то построек и военной техники; человеческих останков в этом месиве огня и дыма было, разумеется, не разобрать.

Стрельба велась из-за леса, который огибал потрескавшийся, словно изъеденный промоинами и покосившимися заборами овраг, кривился, как будто деревья тут шагали вразнобой, и распадался на перелески километрах в пяти от кирхи.

После начала обстрела все сразу пришло в движение.

С высоты было хорошо видно, как засуетились люди, как задвигались грузовики по кривым проселочным дорогам, очнулся и крупнокалиберный пулемет, замолчавший на какое-то время. Вновь заработал, полностью завесив верхний звон колокольни кирпичной пылью.

Дед замолкал, и Саша знал, что сейчас он готовится рассказать о том, как, пробираясь назад к своим, напоролся на немцев, одного из которых он застрелил, а другого зарезал.

За столом наступала тишина.

Всем было неловко смотреть друг на друга, потому что получалось, что дед убил человека своими руками, пусть даже и немца, заткнул ему рот ладонью и перерезал горло.

Из этой мысли рождалась неоднократно виденная Зиминим в отцовском альбоме картина Рембрандта «Жертвоприношение Авраама», когда в самую последнюю минуту ангел Господень отводит руку Авраама и не дает свершиться убийству. А тогда, в сорок четвертом году, близ населенного пункта Молодечно никакой ангел не явился, и убийство свершилось, потому что, если бы не свершилось это убийство, свершилось бы другое, и дед не сидел бы сейчас за столом в комнате на Матросской Тишине.

Саша не любил бывать в этих местах, они казались ему какими-то бесприютными, насквозь продуваемыми ветром даже тогда, когда его не было — тюрьма, сумасшедший дом. Ощущение холода всякий раз добавляли трамвайные пути — они блестели при солнце и при луне, при свете уличных фонарей и в предрассветном тумане, потому и приходилось ёжиться, скользить, а еще падал тут неоднократно.

Из сумасшедшего дома по ночам доносились крики.

Со скрежетом открывались и закрывались огромные, высотой в трехэтажный дом, ворота тюрьмы.

Никакой тут тишины не было и подавно!

Однако ничего этого дед не замечал.

Может быть потому, что переехал сюда, в Мотылёвские дома, после войны

глухим и ничего этого не слышал, а когда слух вернулся, то, не до конца веря в это чудо, не дерзал прислушиваться, ведь в ушах и без того была немислимая какофония звуков — грохот станкового пулемета, треск крошащегося кирпича, гулкие разрывы фугасных бомб, круглосуточно работающие моторы, надрывные голоса в радиозфире.

На Девятое мая засиживались у деда допоздна.

Какое-то время Саша сидел со взрослыми за столом, но когда начинались разговоры о политике, о международном положении и, конечно, о футболе, незаметно выбирался в коридор, заглядывал в бывшую бабушкину комнату, где на стенах висели фотографии неведомых ему родственников.

Родственники смотрели на него.

Некоторые словно бы вопрошали, кто он таков есть, чей сын, как учится, сколько ему лет, а другие, напротив, мазали взглядом, индифферентно наблюдая безрадостную вечность, и вот эти вторые были Зимину куда как более симпатичны, ведь рассматривание их фотографических изображений ни к чему не обязывало. Его ни о чем не спрашивали, и он был не обязан никому ничего отвечать.

Бабушка умерла в конце восьмидесятых, и дед остался один.

Это были родители Сашиной матери — Татьяны Наумовны.

— Папа, ну хватит уже, — доносилось из комнаты, где шло застолье.

— Танька, не указывай мне, иди ставь чайник, — звучало в ответ. Потом раздавался демонстративный грохот стула, и мать удалялась на кухню.

Старый дурак...

Саша хорошо слышал эти сказанные свистящим шепотом слова, от которых родственники на фотографиях тут же начинали хмуриться, и только бабушка с многозначительной улыбкой смотрела на внука. Кто-кто, а она-то уж знала, каким может быть Наум, когда выпьет и вспомнит войну.

Итак, мать ставит чайник на плиту и возвращается в комнату к гостям.

Закрывает за собой дверь.

За окном проезжает трамвай, грохочет на стыках, скрипит на поворотах.

Саша выходит в коридор, где рядом с колонкой висит телефон.

Колонка упирается в потолок.

Голоса из-за двери сливаются в единый монотонный шум.

Снимает трубку, прижимает бакелитовую воронку к правому уху, плотно придвигает микрофон к губам, причем так плотно, что становится трудно говорить, и зубы впиваются в язык, втыкает указательный палец в целлулоидную вертушку.

Набирает номер.

* * *

Мать вздрогнула от телефонного звонка, как это бывает, когда его долго ждешь, и любой неожиданно резкий звук можно принять за электрический зуммер. Внутреннее нетерпение по мере течения времени переходившее у нее в раздражение приводило к тремору рук, что объясняло привычку матери в такие минуты истязать свои пальцы, причиняя себе боль.

Начинал дергаться глаз.

Покалывало в боку.

Какое-то время она не понимала, что телефон звонит, и в отупении смотрела на пластмассовую коробку, которая, подрагивая, медленно двигалась по лакированной крышке серванта.

Потом, выйдя из оцепенения, уверовав, стало быть, в то, что телефон действительно звонит и ей это не мерещится, что это не галлюцинация, хватала трубку и кричала в нее:

— Да! Говори!

На всю квартиру вопила, и дочь понимала, что это звонит Хрусталёв.

На самом деле «Хрусталёв» — это был псевдоним, и как его звали на самом деле, девочка не знала, потому что мать всегда обращалась к нему именно таким образом. Поскольку он был журналистом-международником, то не вылезал из заграникомандировок. Мог «застрять», это было его слово, в Москве на неделю, а потом исчезал на несколько месяцев, совершая редкие телефонные звонки откуда-нибудь из Берлина или Нью-Йорка, Каира или Багдада. Конечно, мать сходила от всего этого с ума. Она хватала телефонную трубку, кричала в нее, что он негодяй и мерзавец, но он ей что-то отвечал, и она уже кричала другое, например, что не может жить без него, что если он не придет завтра, то она покончит с собой. И он, конечно, не приезжал ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц.

Мать оставалась жить.

Наконец он приезжал.

Девочка очень хорошо помнила такие дни. Мать, в истерике хватавшая телефонную трубку, укладывала ее на рычаг уже как блаженная.

Приноравливалась к себе другой, готовилась стать другой и, как ей казалось, становилась на время.

Смотрела на себя в зеркало и тут же отшатывалась от себя прежней, словно под воздействием неожиданно нахлынувшего на нее потока чувств — горячих, идущих от самого сердца, даже могущих вызвать слезы.

«А может быть, так и надо жить, отдавая любовь ближним, не заботясь о себе нисколько, а еще воспитывать единственную дочь, у которой одна нога короче другой? Конечно, именно так, именно так и надо поступать! Ведь в этом нет ее вины, скорее, беда! Вот, например, были же разноногими с детства лорд Байрон и Пастернак. А ведь они не просто ходили, а, по воспоминаниям современников, летали, парили, восхищали. — С этими мыслями мать удалялась на кухню, чтобы здесь дожидаться вечера, уложить дочь и поехать к Хрусталёву.

Однако по мере того как за окном наступал вечер и отражение люстры в виде якоря-кошки, купленной в «Ядране», становилось в стекле все более четким, объемным, совершенно предполагающим наличие за окном такой же комнаты, ощущение радостного возбуждения пропадало.

На смену ему приходило напряженное помрачение, которое матери казалось естественным. Оно было — как хроническая болезнь, к которой привыкаешь, а кратковременное исчезновение ее симптомов воспринимаешь с недоверием, будто тебе не хватает чего-то важного, необходимого.

Это началось у нее еще в детстве, когда она, обладая слабым здоровьем, полюбила болеть — поднималась высокая температура, вся покрывалась испариной, знобило, перед глазами плыли красные круги, в голове звучал собственный голос. При этом не могла открыть рта от изнеможения, наступали судороги, поджимала колени к животу, голову прятала под подушку, мокрые волосы прилипали ко лбу. Картина страдания была бы неполной, если бы мать не ощущала тупую монотонную боль в низу живота и у нее не начинались корчи.

Лицо матери темнело постепенно, словно покрывалось копотью. Она вновь превращалась в себя прежнюю, истязающую свои несчастные пальцы, повторяющую до одури: «Умираю от одиночества, изнемогаю от жалости к себе, нахожу свою жизнь пропащей, жалкой и раздавленной, задыхаюсь от несправедливости, ведь многие надежды питала и мечты лелеяла, помню все оскорбления и унижения, отчего мое сердце очерствело и уже не способно любить, не прощаю обид, а ночи превращаются в бесконечный поток воспоминаний, большинство из которых вымышлены, то есть, являются не вполне воспоминаниями, но пересказом событий так, как мне хотелось, чтобы они сохранились в памяти».

Наконец, дождавшись, когда дочка уснет, мать уходила к Хрусталёву.

А ведь девочка-то и не спала вовсе, но делала вид, что спит, притворялась. Причем делала это очень умело, даже научилась задерживать дыхание и закатывать глаза, чтобы не дрожали веки, могла также спать и с открытыми глазами.

Научилась обманывать.

Когда ключ поворачивался в замке, девочка вставала с кровати и начинала ходить по квартире, всякий раз попадая при этом в едва освещенный тусклым бра туннель коридора, который тянулся на кухню.

История с Хрусталёвым тянулась несколько лет.

И однажды она закончилась.

Со слов матери произошло это так.

Вернувшись из одной из своих поездок, кажется, в Латинскую Америку, Хрусталёв пригласил ее в ресторан Домжура, где среди посетителей оказалась его жена, о которой он никогда не говорил матери и с которой не был разведен. Мать к тому времени уже выпившая, она довольно быстро пьянела, устроила по этому поводу скандал, хотя понять ее, конечно, было можно. Хрусталёв пытался ее успокоить, говорил, что это не имеет никакого значения, но она дала ему пощечину и была выведена из ресторана швейцаром.

Придя домой, мать всю ночь просидела на кухне, допила хранившуюся еще с прошлого Нового года бутылку армянского коньяка и так и уснула под утро, уронив голову на засыпанную пеплом клеенку.

Ей приснилась Евпатория.

Вот она в окружении пациентов детского санатория идет по аллее к воротам, которые венчают гипсовые изваяния пионера-горниста и школьницы с открытой книгой в руке. Маленькие инвалиды пытаются схватить ее за руки, заглядывают ей в глаза, что-то кричат, перебивая друг друга. Столпотворение вокруг нее все более и более нарастает, ей становится страшно, она пытается бежать, но из этой затеи ничего не выходит. И тут она натывается взглядом на мальчика лет семи, ноги которого в любую жару обуты в высокие, наглухо зашнурованные ботинки на разновысокой подошве. Она откуда-то знает, что его зовут Вадик Федорин, что он инвалид не от рождения, а стал им после несчастного случая, его затащило под электричку, и он чудом остался жив, лишившись стоп на обеих ногах.

Дети кричат ей:

— Поиграй с нами! Нам скучно! Как тебя зовут? Давай дружить! Меня зовут Витя! А меня Оля!

Она пытается вырваться из этой толпы, но как это часто бывает во сне, все усилия оказываются тщетными, и ужас быть затоптанной несчастными пациентами детского санатория охватывает все ее существо, при этом становится тяжело дышать.

Мать начинает метаться по клеенке, опрокидывает на пол пепельницу, но не просыпается.

В эту минуту ей кажется, что она слышит голос Вадика Федорина — непривычно высокий, почти девичий:

— Оставьте ее в покое!

Сосредоточенно работая худыми локтями, он направляется к толпе, расталкивает детей, подходит к матери и протягивает руку:

— Не бойся, пойдем.

Все расступаются, и они идут по аллее.

Мать видит резкий запах сыромятной кожи, из которой сделаны ботинки Федорина. Именно видит, потому что во сне запахи имеют свойство превращаться в фигуры или предметы. Так, Вадик жует марципан, намыливает щеки дегтярным мылом, лижет сахарную жженку, надевает на голову старую, залоснившуюся на швах пилотку, открывает ладонь, а в ней лежит горсть обтесанных морем сердоликов.

Матери становится дурно от этого терпкого запаха, и она говорит Федорину, что дальше пойдет одна.

Ускоряет шаг, но он не отстает, хотя видно, что дается это ему с большим трудом, а его острые худые локти разлетаются в разные стороны, и кажется, что он хочет опереться на какие-то невидимые костыли, которые придадут ему большую устойчивость.

Впрочем, все это фикция, обман, быстро идти ему становится все тяжелей и тяжелей, и наконец он останавливается, потому что больше не в силах сдерживать сердцебиение, которое, кажется, вот-вот разорвет его грудь и голову.

Когда пришла в себя, то совершенно не понимала, что мог означать этот сон, к чему он был, разве что головная боль имела какой-то смысл, потому как существовала в двух измерениях — во сне она разрывала голову Федорина, а наяву сжимала металлическим обручем виски, лоб и затылок матери.

Стало быть, только она одна и существует.

Все же остальное было вымыслом, плодом воображения, порой даже и болезненного, тем, во что можно уверовать, но потом непременно жестоко в этом разочароваться.

Разочарование есть торжество жалости к самому себе.

Есть тот, кто был очарован, даже впал при этом в прелесть, и тот, кто разуверился.

Есть тот, кто жалеет, и тот, кого жалеют.

Есть слушающий слова утешения и сочувствия и произносящий эти слова.

Мать видит себя сидящей за столом на кухне и понимает, что слушающий и говорящий, очарованный и разуверившийся — один человек, это она, и в данный момент она не может сказать наверняка, кто из этих двух медиумов существует на самом деле, а кто в ее воображении.

После той истории в Домжуре Хрусталёв навсегда пропал из ее жизни.

Как ни странно, но больше о нем вспоминала девочка, потому что с ним были связаны уходы матери из дома по ночам, то есть то время, когда можно было безоглядно наслаждаться одиночеством в пустой квартире.

Поначалу даже спрашивала:

— Мама, а ты когда к Хрусталёву поедешь?

— Никогда!

— А почему?

— Отстань, — звучало в ответ.

Постепенно облик этого человека, которого и видела-то пару раз, когда он заезжал за матерью к ним домой, затуманивался, растворялся в наслаениях событий и лиц, которые происходили и появлялись в их с матерью жизни.

Со временем пришло понимание, что его и не было вовсе, а в телефонную трубку мать всякий раз могла кричать, когда на том конце провода звучал голос Зимина, потому что Зимин, в отличие от Хрусталёва, существовал реально, хотя бы потому что девочка видела его каждый день в школе.

Вот и сейчас, скорее всего, звонит именно он.

Где-то там у себя снимает трубку, прижимает бакелитовую воронку к правому уху, втыкает указательный палец в целлулоидную вертушку и, набрав номер, произносит:

— Привет, это я.

Но так как трубку хватается мать, это ее привычка — первой бросаться к телефону, и с этой привычкой ничего нельзя поделать, то сразу наступает тягостное молчание.

— Кто «я»? — едва сдерживая себя, начинает мать.

— Саша.

— А что вас, Саша, не учили представляться, когда вы звоните в чужой дом?

— Я думал, что...

— Ах вы думали! Перезвоните еще раз и сделайте так, как поступают воспитанные люди, — мать торжествует.

Она бросает телефонную трубку на рычаг.

Она уходит курить на кухню.

Она прекрасно понимает, что Саша не перезвонит.

Он не перезвонил тогда, потому что дверь из комнаты неожиданно распахнулась, и в коридор вышел дед.

— А ведь он меня тогда, собака, успел укусить за ладонь, до крови, гад, цапнул,

я аж от боли взвыл, да и полоснул его ножом по горлу, сам не знаю, как так вышло, все словно в тумане каком-то было, — дед покачал головой. — Немец захрипел, разжал зубы и так и остался стоять на коленях, а я у него из ранца достал бинт и замотал им руку. Сам не свой был, словно бы даже и не я, а кто-то другой, страшный, злой, весь забрызганный кровью. Если бы там в тот момент был еще кто живой, его бы тоже зарезал, не раздумывая. А ладонь потом у нас в санчасти зашили и в медкарте записали — «укус собаки». Шутники...

— Дед, скажи, а почему ты до сих пор не можешь это забыть, ведь уже прошло столько лет?

— Наверно, потому что этого немца тогда зарезал не я, и помнит об этом кто-то другой, напоминает мне об этом постоянно, а я все забыл.

— Нет, не понимаю тебя.

— А что ж здесь непонятного, дорогой мой? Внутри каждого человека живет некто, повторяющий его действия, слова, поступки с точностью до наоборот, ты не можешь лгать, а он лжет, ты не можешь предавать, а он может, ты не можешь убить, а он убивает.

— Как бы двойник?

— Да, можно сказать и так. Именно с ним, то есть с самим собой длится наш бесконечный спор, и от того, какой выбор в этом споре ты сделаешь, станет ясно, кто является двойником на самом деле.

— Дед, а если так и прожить всю жизнь, не сделав этот выбор, разрываясь и не зная, чью сторону принять?

— Думаю, что от этого можно просто сойти с ума, и большинство людей все-таки делает такой выбор. Не словами, разумеется, но поступками, хотя, конечно, при этом они могут говорить о совершенно противоположном.

Вот сейчас Саша беседовал с дедом, которого, как выяснилось, раньше он никогда не знал, потому что видел его совсем другим — смотрящим футбол по телевизору, отгадывающим кроссворды, принимающим лекарства перед сном. И вот теперь терялся в догадках, а он ли это был на самом деле?

На обратном пути, когда ехали домой, все время смотрел на мать и думал о том, что она, скорее всего, знает ответ на этот вопрос, но задать его почему-то так и не решился.

* * *

Она стоит перед зданием Ленинградского вокзала и смотрит на часы, которые показывают пять часов пополудни.

— Они давно уже сломаны, Женя, там что-то с анкерным пуском, все никак починить не могут, — звучит из-за спины, и она сначала не вполне понимает смысл этих слов, находя их частью общего шума, грохота проезжающих грузовиков, скрежета трамвая на рельсовых стыках, монотонного гула толпы, голосов путевых обходчиков, гудков электрички на мосту окружной железной дороги, всего того, что в форме крутящейся воронки вбирает в себя Площадь Трех вокзалов.

Да так вбирает, так сквозит, что и на месте-то устоять непросто.

Вот, например, шквал поднимает с проезжай части песок, обрывки газет, рваные целлофановые пакеты и несет их мимо домов, натягивая провода в струну, а уличные фонари покачивают своими выкрашенными серебристой краской головами, как висельники.

Она переваливается с правой ноги на левую, оборачивается на голос и на какое-то время лишается дара речи.

Вполне возможно, что это мгновение, но оно ей кажется вечностью, потому что время на часах Ленинградского вокзала остановилось, а шелкающий механизм с треском выдает ошибку, словно часовых дел мастер прокручивает в мясорубке металлические стружки.

Ей приходится зажиматься вовсе не потому, что она ослепла, увидев лицо человека, которого не видела много лет и была уверена в том, что не увидит его больше никогда, а потому что волна ледяного воздуха ударила в лицо и набросала в глаза поднятый с тротуара, жестяных карнизов ли сор.

Слышала, теперь уж и не вспомнит от кого, что после школы Зимин поступил в МАИ и они с родителями переехали куда-то на Октябрьское поле, потом где-то служил, вроде бы даже был ранен, общие друзья его якобы видели в Москве, а потом он пропал, и она смирилась с этим — перестала его искать и о нем думать, просто заставила себя, хотя никак не могла отделаться от чувства ложного узнавания Зимина в других людях, словно бы он проявлялся таким диковинным образом и преследовал ее. Впрочем, признавалась себе в том, что это было ее желание, тайная мечта, чтобы он ее преследовал, а на самом деле Саша, вполне возможно, и забыл о ней давно, потому как никогда не любил, просто дружил, просто провожал до дома после школы.

— Сто лет не виделись, — сказал, обнял за плечи и крепко прижал к себе.

Да, как тогда перед Новым годом на остановке, когда она подумала, что умрет от переполнивших ее чувств, что задохнется от счастья в попытке надышаться мгновением, о котором она мечтала, наверное, всю жизнь.

Вот и сейчас, находясь в полубессознательном состоянии, говорит ему что-то бессвязное о том, что она живет по-прежнему в Сокольниках на девятом этаже, что мать умерла два года назад и теперь она одна, что скоро ей предстоит операция и вполне возможно ногу удастся нарастить, да-да, нарастить! Она приходит в чувство полностью и, неотрывно глядя в лицо Саше, словно бы до конца не веря, что это он, начинает горячо рассказывать о том, что оперировать ее будет один известный профессор трансплантолог, у него как раз тут рядом на Краснопрудной клиника, светило медицины...

— Здорово! Поздравляю, — звучит в ответ.

А на Площади Трех вокзалов меж тем разгораются фонари, на фасаде Ленинградского вокзала уже вспыхнули бра на чугунных кронштейнах, да и ветер почти стих, лишь изредка беря в оборот афиши, перевернутые урны да контактные провода. Все это напоминает встряхивание мокрого белья перед просушкой и его развешиванием на веревке, протянутой через двор.

Например, через двор, что был наглухо отрезан от внешнего мира с одной стороны кирпичной стеной брандмауэра и привокзальными постройками с другой, где всегда было темно, а под металлическим переходом, сваренным из арматуры и листового железа, постоянно горел желтый электрический свет, тут тени перемещались в окнах, мигали вспышки в трансформаторной будке и водосточном коллекторе, змеевидная поземка блуждала по вздыбленному корнями тротуару, на скамейке сидел дворник Орзу, улыбался, кланялся:

— Здравствуйте, меня зовут Орзу, я приехал из Курган-Тюбе.

Наконец они вышли на платформу и остановились у пятого вагона.

Саша только и успел рассказать, что вот уже десять лет как живет в Питере, на Петроградке, что женат, что у него двое детей, что работает он в одной электротехнической фирме и очень редко бывает в Москве, просто сейчас оказался в командировке, и вот встретились, чистая случайность.

А потом поезд двинулся и медленно поплыл вдоль перрона.

Зимин стоял у окна, махал рукой, что-то говорил и улыбался.

И она улыбалась ему в ответ и думала, что это был, скорее всего, не Саша, потому что там, на площади, он обратился к ней по имени, а ведь она никогда ему его не называла.